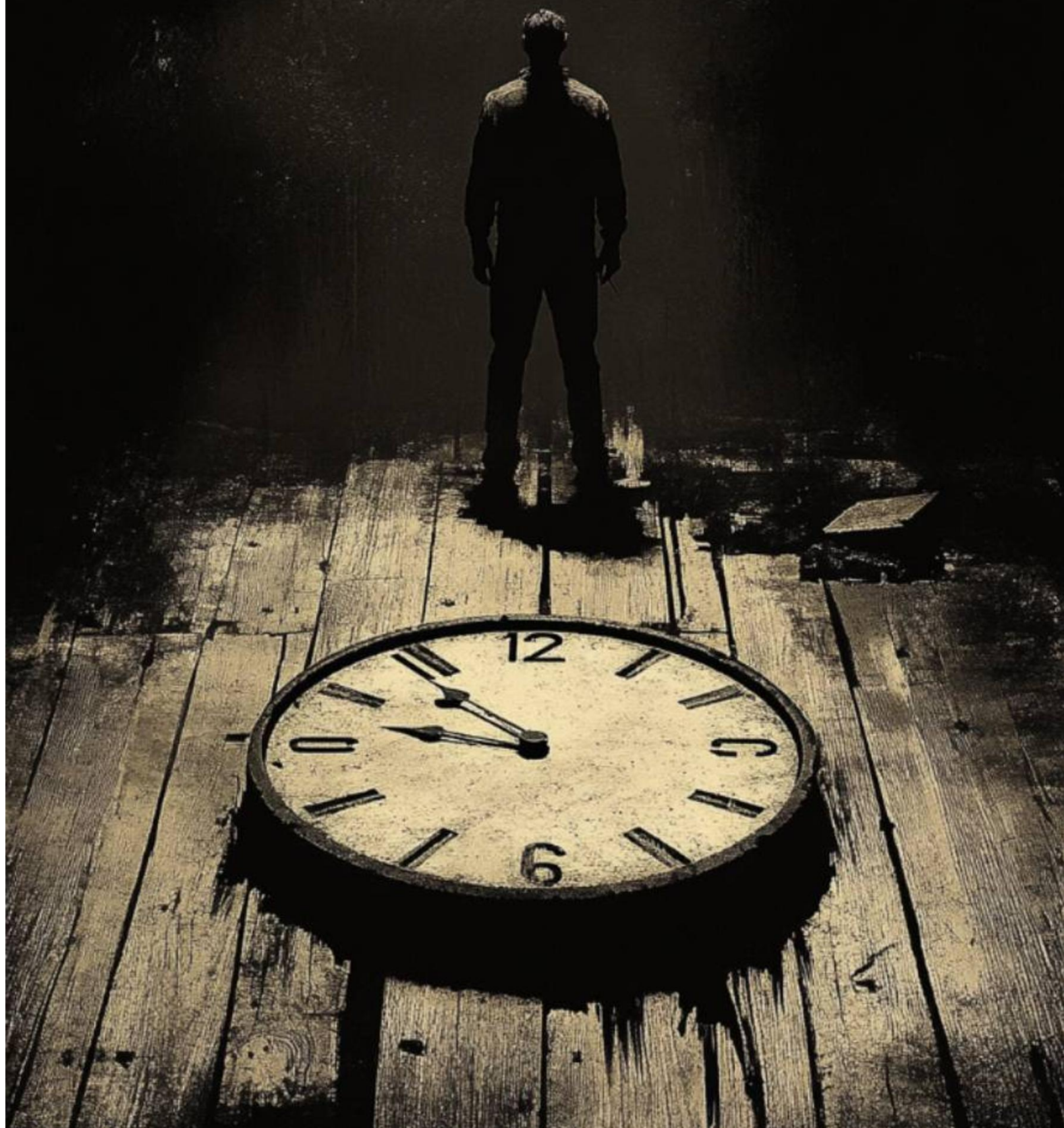


Евгения Киселева

Круги челоуечьи



Евгения Киселева

Круги человечьи

«Автор»

2026

Киселева Е. Г.

Круги человечьи / Е. Г. Киселева — «Автор», 2026

Обречены ли люди повторять судьбы своих предков? Или же любой в силах разорвать круг и уйти от повторения? А если и так, то стоит ли к этому стремиться? Юноша Пётр, одолеваемый идеей поиска собственного жизненного пути, покидает родительский дом. Вскоре он оказывается в лесу в загадочном новом мире, населённом очеловеченными животными, чьи образы впредь станут преследовать Петра повсюду. Роман-метафора «Круги человечьи» увлечёт читателя, которому свойственно стремление к познанию и осмыслению окружающего мира, эстетическое восприятие и понимание художественных образов.

© Киселева Е. Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Дедовы сказки	5
Глава первая. Пётр	7
Глава вторая. Идея	11
Глава третья. Волк	16
Глава четвёртая. Ночь	19
Глава пятая. Лес	22
Глава шестая. Лось	27
Глава седьмая. Охота	31
Глава восьмая. Заяц	34
Глава девятая. Пожар	37
Глава десятая. Змея	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Евгения Киселева

Круги человечьи

Пролог. Дедовы сказки

Юла хорошая игрушка, правильная. Она намекает, готовит, подводит. Понятно, каждому своим умом предстоит смысл её предвестий постичь. И всё же славно, что хоть она детям путь рисует да направление указывает.

Так частенько говаривал дед. Женщины же лишь головами качали, слушая мудрствования старика о столь обыденном предмете.

Юла была деревянная, потускневших цветов, вроде когда-то именовавшихся зелёным и красным, с пятнами тёмного дерева на боках, там, где краска уже облупилась вовсе.

Женщины постарше часто обещали себе сберечь копеечку, отложить её в тайный ящичек, чтобы, когда в доме вновь появится ребёнок, непременно приобрести юлу новую, яркую. Они видели в том обещание, что детство следующих за ними будет иным, а значит и всё дальнейшее житие их украсится. Таким они находили выход из круга, существование коего отрицали.

Те же, что помладше, разглядывали юлу с тайной грустью, причины которой они знали ещё совсем недавно, но успели позабыть. А под потолком, не позволяя обнаружить себя до правильного времени, рука об руку парили предчувствие разлуки с собственным дитём, предвидение длинного пути его, полного страхов и испытаний, и известная надежда на его возвращение.

Вечерами дед тихонько, тягуче, нараспев рассказывал маленькому Петру сказки. В них не было ни принцев, ни принцесс, ни злых волшебниц или колдунов. Но сказки были чудесные.

Кроме младенца, никому в доме и дела не было до дедовых сказок. Все слушали его голос, слышали слова, но смысл их ускользал от прочих, ибо находились они посередине пути своего, уже не в начале, а и до завершения им было далеко. Потому чувства кипели внутри сердец их, мысли варились в головах их, и уши были завернуты внутрь, чтобы ничто не отвлекало их от них самих.

Дед рассказывал о том, что видел сам, да ещё о том, что поведали ему люди на пути его. Но абы чьи слова он не передавал, а лишь самых достойных, кому верил душой.

Так по правде получается, были то и не сказки, отнюдь, а истории истинные, или даже чистые идеи. И он бередил ими новый мир, пока спелёнатый и всерьёз не принимаемый, и некому было ни одобрить его, ни воспрепятствовать ему.

А ребёнку много ли надо? Всё есть интерес для него.

Дед говорил: «Представь себе, я помню, как и дома этого в помине не было, а было одно поле. Бескрайнее, оно зеленело, насколько глаз хватало. По утру новой весны оно больше салатным отливало. Потом темнело. Взросло, как бы. А ещё позже мелким пёстрым цветом покрывалось. И это тоже было верно. Но домов тут не было тогда. Один крест неказистый кренился под ветром.

Кто его такой соорудил - мне неведомо. А только правильно он поступил, что таким хлипким его выдумал. Когда мы все в здешних местах обретаться стали, то, как один, полагали, что крест не этой, так следующей грозой повалит. Или же по весне мы проснёмся, а его и нет уже. Но время шло, крест стоял, и мы поверили в него. Так он нас воспитал, крест наш. Тебя тоже как ни то да зацепит, дай срок. И это будет хорошо.

Домов здесь не было, я говорил уже. А вот у каждой семьи в отдельности дома были. У всех в разных краях, далеко друг от друга. И надобности вроде никакой не было нам тут собираться. Так получилось, что все мы здесь оказались. Зачем и почему так получилось мы

поначалу пробовали рассуждать, да толку из этого не вышло. А важность дома для всех была непререкаема. И потому прикатали мы дома свои с прежних мест своих и вновь воздвигли их, будто всегда так было. И жить стали. Трудиться стали.

Но я тогда моложе всех был, пусть и отец уже. Не усидел я и на новом месте. Однажды встал да ушёл из дому, как сейчас помню, спозаранку. Накануне я, конечно, много думал о том. И по прошествии лет уверен, кое-кто понимал, что я уйти задумал. Но удержать меня они уже были не в силах. Да, знаешь, и не пытались.

Хорошо или плохо я сделал я о том судить не буду. Не моё это дело. Хочу только, чтобы ты знал: пока меня не было я многое повидал. И было там и хорошее, и дурное. И пусть теперь я здесь, с тобой, и всегда буду с тобой, ты должен знать, что я хотел бы увидеть и узнать ещё больше.

Это я на случай, если однажды и ты уйдёшь, а после вернёшься, тогда уж не обидь старика молчанием, а порадуй сказкой, будь добр.

Не верь тем, кто говорит тебе смотреть вперёд и только вперёд. Они лишают тебя многого. Крути головой, что есть мочи. Смотри вверх – в ясное ли небо, полное воздуха для твоих лёгких, в белый потолок, подсказывающий, что ты всегда вправе своё начать путь свой сызнава. Смотри по сторонам на людей, животных, цветы. Никогда не знаешь, кем окажется твой друг.

Назад тоже не забывай оглядываться. От этого тошно бывает, знаю. Но где бы ты ни шёл, не смей отрицать, что шагаешь ты по доброй воле. И то, что за тобой ползёт в тумане, это и есть твой путь. Не то, нетоптаное, неясное, впереди где-то, а именно пройденное оно по настоящему твоё. Люби его.

Да, задал я тебе задач тут. Кто-то скажет, жизни не хватит: туда посмотреть, сюда посмотреть

Просто все полагают, будто время – это прямая. Но на самом-то деле, оно круг. Или даже шар. Тут я сам ещё не вполне понимаю. Может быть, ты разберёшься, когда-нибудь.

Глава первая. Пётр

Родительский дом был необычный, непохожий на другие дома в округе, уже тогда непохожий, до того времени, когда многие начали строить и перестраивать дома, разделяя и отстраивая себя от соседей, пытаясь воплотить свою особенность в самых причудливых сооружениях.

Всё то, что требовало от прочих усилий воображения с домом его семьи происходило естественным образом, ибо дом попросту повторял изгибы судеб своих людей.

Пётр помнил дом широким, просторным, состоящим из шести комнат. Вот только любому, кто признал возведение домов делом своей жизни, немедленно стало бы ясно, что изначально комната была только одна, большая и светлая, с окнами на всех стенах, покатой крышей, не задерживающей снега, и большой печью в углу.

В эту самую комнату и по сей день вела входная дверь с открытой террасы, и печь стояла на своём месте, и топили её исправно, и света в комнате по-прежнему хватало ввиду двух больших окон по обе стороны от входа.

Но в трёх других стенах на месте окон давно были прорублены дверные проёмы, соединившие комнату изначальную с тремя сызнова возведёнными пристройками. Сделанные на совесть из толстых, крепких брёвен, они не несли на себе ни намёка на временность. В каждой умещалась своя печь, и окна улыбались со стен, и каждая пристройка имела причуду свой собственный выход во двор.

Ещё позднее к задним стенам правой и левой пристроек были добавлены новые комнаты, соединившиеся очередными дверными проёмами с центральной пристройкой. Вероятно, кем-то задумано было, что дом из чудной буквы Т превратится в ладный прямоугольник, а всё же очевидно, что последние комнаты дому добавили разные люди, хоть и не исключено, что это был один и тот же человек, просто изменившийся, - не так, чтобы уйти от благоустройства собственного дома, но достаточно, чтобы не заботиться о равенстве помещений, одно из которых с торца выступало за переднюю линию дома, второе же, напротив, сложилось на меньшей площади, нежели пристройки его предшественника.

В результате всех тех событий по дому можно было бродить бесконечными кругами, посещая каждую из комнат по одному разу за круг, или же петляя восьмёрками бесконечности, посещая средние две дважды за восьмёрку.

И тот и другой способы познания чрезвычайно увлекали Петра в детстве. Он сам открыл их для себя, впитал их, пользовался ими и находил их прекрасными, почти совершенными. Уже тогда он умел взглянуть на себя со стороны, и наивно гордился своим сходством с юлой.

Ещё любил он, сидя в каком-нибудь уголке двора, изучать контур всего дома в целом. Он следил взглядом за странными изломами общей крыши, плавившейся в дыму, летевшем в небо из шести труб. Крепко держа в руках свой первый учебник по счёту, он снова и снова складывал число окон и дверей родительского дома.

Потом он откладывал книгу, закрывал глаза, заставляя дом исчезнуть, и начинал по памяти возводить его опять, в том самом виде, в коем заучил его наизусть, начиная с фундамента, внешних стен и крыши, и заканчивая всем внутренним убранством и мельчайшими деталями его.

В доме у Петра была своя комната. Он помнил, что вначале его комната была квадратной.

В редкие мгновения отдыха дед понемногу играл с ним, но и учил тоже. Как правило, то происходило в огороде, около лавочки, куда дед присаживался и подзывал Петра, если тот был поблизости. На чёрной плодородной почве яблоневым прутом дед чертил буквы, или цифры, или фигуры, и рассказывал о них внуку.

Так, однажды дед нарисовал квадрат, и сказал:

- Пётр, смотри, это - квадрат.

Маленький Пётр провёл параллель.

- Это же моя комната! Моя комната - квадрат!

Дед вначале качнул головой, а потом кивнул.

- Не совсем, но похоже.

На самом деле, комната была квадратной в тот день, когда Пётр впервые остался в ней ночевать один, не без страха, а и с предвкушением. Полный истинного человеческого достоинства он опустил голову свою на подушку и подтянул одеяло до груди.

Он долго не мог уснуть, ничем, впрочем, не выдавая этой своей слабости. Молчаливого, с бегающими глазами, пытающегося охватить все свои новые владения разом и одновременно убедиться в их безопасности, его удерживало в постели данное самому себе слово, его первое слово.

С течением же лет две стены комнаты - правая от входа, вдоль которой стояла кровать, и левая, с прислонённым к ней шкафом и неизменной печью – будто сжались и укоротились. И комната превратилась в прямоугольник. Про прямоугольник дед ему тоже рассказывал.

Ребёнок довольно догадался, что стены укоротились, когда сундук, испокон веку стоявший вдоль той же стены, что и кровать, вдруг перестал помещаться на своём месте и был развёрнут к стене, несшей в себе дверь.

Петру неведомо было, что многим раньше, когда сам он ещё не существовал дальше террасы дома, отец его своими руками сколотил две схожие кровати, но вторую сделал на вырост. Подмену же и правда не просто было заметить, ибо не столь разительно отличалась по длине вторая кровать от первой. Так отец Петра ожидал видеть сына своего подобным себе и своему отцу, а мужчины в их семье были невысоки и тонкого, жилистого телосложения.

Потолки в комнате Петра были выбелены, а полы выкрашены в рыжий цвет. Так было по всему дому, всегда и везде. Дощатые же стены лишь покрывали морилкой, придававшей светлomu дереву золотистый оттенок и слегка маслянистый блеск.

Единственным пёстрым пятном в комнате был тонкий ковёр, висевший на стене вдоль кровати, с которого изо дня в день и из ночи в ночь на Петра смотрело большими, глубокими глазами семейство лосей, обречённых на вечную прогулку в изумрудном лесу, под тёмно-синим небом.

Едва Пётр стал оставаться без присмотра, что, впрочем, случилось довольно рано, как было принято повсеместно, ведь мужчины часто бывали в отъезде, а у женщин не выдавалось времени и рук просушить своих он начал путешествовать по родительскому дому, пошатываясь на неуверенных ногах своих, ногах детёныша, неокрепших, но целеустремлённых, и многое тогда являлось ему впервые.

Так постепенно проступали перед ним контуры, очертания помещений, их геометрия и траектория, входы и выходы, границы предметов обстановки, столов, и стульев, и сундуков, что он зачастую познавал через боль, а единожды познав, запоминал накрепко.

Особенно восхищали его шкафы, массивные, высокие, доходившие до самого потолка, или даже выше, но выше ему не удавалось всмотреться, несмотря на то, что он старательно запрокидывал голову, и потому в его мечтах, а подчас и в его снах, шкафы представлялись ему безразмерными, растянутыми во все стороны, преступившими все пространственные законы. Только так могли они вместить в себя все те чудесные вещи, изредка извлекавшиеся за тем, чтобы быть упрятанными вновь от солнца, от пыли, от влаги, от времени и до времени, и для времени, для бесконечности и до определённого мгновения, которое может наступить завтра или никогда, или тогда лишь, когда кто-то в доме повзрослеет.

Не раз примечал он многие отрезки тканей причудливых расцветок с вышитыми на них цветами и птицами, тканей, коих он никогда не видел на женщинах в доме; и белоснежные полотенца и простыни, уложенные аккуратными стопками, сверкающие на солнце, врыва-

шемся внутрь шкафов, стоило чуть приоткрыть дверцы, чтобы наскоро осветить, обласкать тщательно упрятанные сокровища.

Ниже расставлены были ящички с лентами, и пуговицами, и затейливыми застёжками, обрезками кожи, шнурками и ремешками; и самый большой, резной деревянный ящичек, где на дне лежало несколько бус и серёжек, не занимавших и трети данного им места; и берестяные коробочки, доверху набитые отдельными бусинами, давно потерявшими своё сродство, связь между собой, но бережно подобранными и хранимыми.

В другом шкафу он углядел посуду. На верхних полках были разложены объёмные сервизы, пирамиды тарелок от больших и до миниатюрных, супницы, расписные пиалы и чашки, блюда, с изображениями дичи, для которой они предназначались, чайники и молочники, салатники и соусники, рюмки и бокалы изящной работы, и плоские коробочки со столовыми приборами серебристого металла. На нижних же полках томились в надеждах на второе рождение на свет те творения гончаров и стеклодувов, что уже утратили былое великолепие, или же были ранены в трудах и более не подлежали применению по их истинному назначению, но, несмотря на то, были аккуратно прибраны и хранились неподалёку от своих великолепных потомков.

Ради нижних полок шкаф иногда приоткрывался, и какая-нибудь из женщин брала из него самую покоцанную миску, чтобы зажечь свечу в ней, а не в черных железных подсвечниках, мастерски выполненных в форме узких бокалов, увитых виноградными лозами. Подсвечники же те являлись не фантазией ребёнка, но покоились в том же шкафу, на полку или две выше скученных битых плошек.

Но как нередко случается, в ту пору, когда рост стал позволять ему дотянуться и самому приоткрыть дверцы мучавших его шкафов, разом разобраться в снах своих, разделить сны от воспоминаний, а воспоминания от мечтаний, столь явственных и детальных, что почти осязаемых, прочно вписавших себя в его картину мира когда время преподнесло ему этот дар он не сумел им воспользоваться им из безразличия и безучастности ко всему, кроме единственной идеи, овладевшей им полностью.

Родительский дом, и двор его, и огород его, и постройки разные – всё, что дому тому принадлежало было обнесено забором, у которого имелись ворота.

Пётр не раз проходил по поселению, где находился родительский дом, но никогда – в одиночестве. Пусть и не было у него в детстве забот – жизнь его была подчинена заботам, окружавшим его. А потому за воротами он оказывался всегда по некоей потребности, что возникала у деда его, или же у матери.

Вот только в самый первый раз он очутился за воротами по собственному почину.

Одним утром все женщины родительского дома вдруг разом оставили заботы свои и выстроились вдоль забора, обращённого к улице. Затем они открыли ворота и выступили на дорогу, перешёптываясь, прижимая сложенные ладони свои к груди.

А Пётр тихонько пробирался между юбок, так как желал увидеть то же, что и они, хотел узнать и понять, что могло нарушить привычный ход вещей в доме, где всегда всё было единообразно и размеренно, не прерывалось и не возрождалось вновь.

Он избегал касаться женщин и их одежд. Вначале он сторонился по собственному разумению, а некоторое время спустя приметил, как из дома напротив их дома вышел мальчик, схожий с ним самим, но другой, и мальчик тот неотрывно держался за юбку одной из женщин того дома. Несколько раз мальчик попытался завладеть рукой женщины. Он перебирал складки её одежды, будто собираясь взобраться по ней ввысь. Потом он тянул её за отвисший рукав блузы, блёклой и залатанной. Руки же женщины той были крепко сцеплены у груди её и ни одна из ладоней не снизошла к ребёнку.

И Пётр твёрдо решил не быть столь жалким, а потому сторонился женщин родительского дома, выступив немного вперёд них на дорогу, что, впрочем, из-за его малого роста осталось вовсе незамеченным.

По серой утрамбованной дороге поселения, минуя дом за домом, шествовали женщины в количестве человек пятнадцати. Но то были женщины иные. Одежда их были черны и ступни их были обмотаны чёрной тканью. И даже волосы, все до единого, были укрыты чёрными простынями, плотно завязанными вокруг шей, что подчёркивало формы голов их, но не позволяло догадаться о цвете волос их вовсе.

Они шли медленно, нарочито медленно, не издавая ни звука, кроме трения юбок и шороха ног в дорожной пыли. Они шли, слегка наклонив свои совершенные гладкие головы книзу, а ладони их были сложены на груди, и это единственное роднило их с женщинами поселения, куда они вторглись.

Несколько из них, впереди идущих, несли высокий, тонкий деревянный крест, довольно кустарно выполненный из связанных палок, не ровных, не обструганных, перевязанных серыми верёвками, концы которых развевались на ветру. Крест не выглядел тяжёлым, но, чтобы держать его выше и в нужном равновесии требовалось несколько пар рук, и женщины отдали ему свои руки, и шли так тесно друг другу, что частенько спотыкались и едва не падали.

А у той, что шла впереди их всех, невысокой и округлённой, в руках был деревянный ящичек, одновременно имевший тесёмки, обвивавшие шею женщины. Ящичек был резной, и чем более приближалась процессия, тем очевиднее становилось, что резьба представляет собой портрет некоего мужчины с высоким лбом, неестественно большими глазами и длинной бородой.

Со всех сторон к ящичку тянулись руки женщин поселения, в коих неизменно были зажаты разноразмерные монеты, и монеты те наполняли ящичек.

Женщины родительского дома также ринулись отдать дань ящичку, едва не сбив с ног Петра. Он слышал слова их, произносившиеся с придыханием, но всё громче: «Иоанн! Отец Иоанн!»

Петра смутило это имя. Оно откликнулось в нём, а он не мог понять почему. Отца своего он не помнил и толком не знал себя самого, но резной портрет на ящичке немного напомнил ему деда его. Только имени деда он не находил в себе, как ни старался. Не сумел он и припомнить, слышал ли он когда-нибудь имя деда, чтобы узнать и сохранить его. Это казалось ему странным и неправильным тоже, и всё же точно он решить не мог, и некому подсказать было.

Чёрные юбки колыхались перед его глазами, одна за другой. Он привычно запрокинул голову, и, внезапно, ударился глазами в глаза в светлые, прозрачные глаза, каменно-твёрдые на дне своём. Но твердь та не была жестокой, а ожидающей, будто готовой впустить и приютить в недрах своих того, кто станет нуждаться в ней. И над головой Петра возникла рука, широкая и некрасивая, а и готовая подарить ласку.

Но шествие не останавливалось ни на мгновение. Чужая ладонь легонько коснулась вихров на его голове, приведя их в движение, электрическим током прошедшее по всему его существу.

Когда он посмотрел им вслед, то увидел сплошное чёрное пятно и хлипкий крест над ним.

Вскоре подступавшее к нему взросление поглотило образы того дня, подменив их, как и многое другое, единственной идеей. Но те не исчезли безвозвратно, а остались в глубине его и принялись терпеливо ждать часа своего.

Глава вторая. Идея

До того дня, когда Пётр переступил порог родительского дома, шагнув в предутренний туман, в росу, под мутный свет едва проснувшегося солнца, тихонько закрыв за собой дверь, вышел за ворота, почти с нежностью прикрыв и их за собой, и, не боясь передумать, но опасаясь быть остановленным, быстро зашагал по дороге, избрав ту, что скорее должна была вывести его в поле, а не ту, что вела вглубь селения, где иные дома теснили бы его, или вовсе раскрыли бы его побег из солидарности с покинутым им домом, до того самого дня он носил идею о своём уходе уже не один год.

Первой вещью, обнаруженной и припасённой им в угоду своей идее, стал холщовый мешок, являвший собой одновременно доказательство, уступку и обещание, закладку в книгу и незаживающую рану от беспомощности и бессилия перед идеей. Он хранил тот мешок под своей кроватью, годами украдкой складывая в него какие-то предметы, которые, как он полагал, могли бы ему пригодиться, защитить его, утешить в пути.

Позднее, в период своих тягучих, дремотных сборов он заприметил, как сосед нёс на спине мешок, по виду схожий с его тайной, и мешок тот надёжно крепился за спиной человека при помощи широких кожаных ремней, оплетающих плечевые суставы.

Тогда он выкрал из одного величавого шкафа несколько обрезков кожи, разноразмерных и разноцветных, иголку и нитки, а затем долгими ночами старательно шил некоторое подобие тех ремней.

Неудивительно было то, что он выбрал совершенно неподходящую иглу, тонкую, чуть не ломавшуюся о затвердевшую кожу. И нитки он выбрал неподходящие, хлипкие, легко рвавшиеся в его руках. Впервые признав непригодность своих орудий, он не расстроился, а озадачился, и по размышлении выбрал не менять ничего в своём выборе, приняв неудачу как наказание за воровство.

Много часов он сшивал из обрезков сами ремни, а затем ещё какое-то время силился должным образом приладить их к мешку. Но то сама конструкция оказывалась непригодной для ношения на плечах, то ремни обрывались под тяжестью его невеликой ноши.

Когда ему всё же удалось исполнить задуманное, и он увидел в зеркале своей спальни собственное отражение с тем самым холщовым мешком, неровно, но надёжно висевшим вдоль его спины на ремнях, которые он сам замыслил и претворил, впервые в жизни воплотив нечто, что неожиданно и вместе с тем долгожданно перестало быть лишь мечтой – в то мгновение он оказался поражён.

Материализация задуманного вдруг отбросила тень реальности и на все иные планы его, и было в том и удивление, и испуг – совсем детский, неразумный, потому как вслед за ним подросла и гордость, нащёптывавшая о победах и преодолении, о силе и разуме человека, о возможности невероятного.

Временами случалось, мешок наполнялся настолько, что Пётр оказывался не в силах поднять его. Тогда он рассудительно решал, что уходить ещё рано, и глубоко верил в своё решение, и оно было истинно. И также истинны, полны и радостны были запахи кухни родительского дома, лай собаки во дворе, тонкие напевы матери за работой. Все эти невидимые нити, размягчённые, но не оборванные волновали его, убавляли возраста и ерошили волосы, прилежно отпугивая идею, что естественным образом не могло длиться вечно, и день, когда его уже нельзя будет удерживать, неустанно близился.

Он не раз перебирал мешок, когда тот переполнялся, смеясь над собой и теми вещами, что сам уложил в него за несколько месяцев до того, ещё будучи ребёнком. Он вынимал какой-нибудь предмет, отбрасывал в сторону, наивно полагая, что не покинувшее дома вместе с ним, не присоединившееся по его желанию к его движению, не послужившее его идее, уже не сможет

послужить никому и никогда. Затем он вкладывал в живот своей холщовой сокровищницы что-то другое, медленно, почти торжественно опускал его внутрь, будто награждая его счастьем путешествия.

Но однажды он отрёкся ото всего, кроме утеплённой одежды и полотенца, высвободив так место для воды и пищи, их ограниченного, но необходимого запаса. Приподняв мешок, он ощутил его лёгкость, и, в то же время, верность ему и его идее. Тогда он понял, что уже скоро.

Решив в последний раз заглянуть внутрь, клянясь себе более не вводить самого себя во искушение до самого дня начала пути, он нащупал на дне предмет необычной формы, который, будучи извлечённым на свет, оказался его старой игрушкой - юлой, потускневшей деревянной юлой, израненной в многолетних трудах.

Он постарался припомнить, когда же она могла оказаться внутри, и не сумел, так как должно быть это случилось в самом начале, когда они ещё были неразлучны, когда он ещё не был готов разлучиться с ней вовек. Сейчас же он бережно убрал её в сундук, завернув в льняную тряпицу, нежно и благодарно, как образ.

Она оставалась символом, но символом пустым, ибо сущность её уже жила в нём самом. Они были едины.

У Петра было время подготовиться к воплощению своей идеи, и он готовился, как умел. Не ведая ни мира, ни людей, ни страдания, он не знал, ему неоткуда было узнать, что надлежало взять с собой в дорогу, что именно спустя множество вёрст окажется разумным и полезным ему и его движению.

Накануне предрешённого дня, улёгшись в кровать, он долго рассматривал свою комнату, не ставя, впрочем, себе задачи запечатлеть её в памяти, или же отыскать новые, ранее сокрытые от него уголки. Здесь он знал каждую линию и каждую вещь.

Напротив, уже долгое время до того он неспешно, незримо расставался с родительским домом, устремляя мысли свои вдаль, запрещая им долее обретаться посреди тепла и запахов, привычных с детства.

Теперь же наступил черёд его комнаты. И он сдерживал себя, чтобы не провести рукой по шее могучего лося, глядевшего на него со стены в ту ночь с неодобрением и печалью затаённой.

Пётр же думал о том только, что скоро, совсем скоро он своими глазами узрит то небо, и тот лес, которые давно наскучили благородному семейству в недвижной вечности его, но манили неизведанностью ребёнка неискушённого.

Спал он плохо. Едва он забывался, как идея прокрадывалась в постель его, оплетала его своими толстыми, закалёнными корнями, душила его хрупкое, детское тело, душила так, чтобы, открыв глаза, он возжелал одного – как можно быстрее оставить эту самую постель и дом, где она ему дана.

Он и сам не мог бы сказать, когда зародилась в нём эта жгучая потребность в движении, движении ото всего, что являлось его миром, ясным, родным, любимым до душевного трепета, но в то же время предсказуемо временным, конечным, рождавшим почти осязаемое ощущение бессмысленности.

В себе он свою идею обнаружил и уразумел ещё до возвращения отца, долго пребывавшего в дороге и принёсшего в дом новые истории. Вместе со своим телом, своими руками, своей крепкой спиной, он принёс в дом и свою жизнь вне дома, ту часть её, что не расплескал и не утопил в пути.

Истории отца были важны, и Пётр благодарно собирал их по кусочкам, по осколкам, разбрасываемым отцом по дому и окрестностям, впрочем, безо всякой заботы о том, чтобы они достигали ушей сына, нуждавшегося в них многие годы терпения и ожидания.

Но, несмотря на зримую и слышимую полноту дома, Пётр с каждым днём укреплялся в своём решении, памятуя, что осознал его, принял его, полюбил его ещё до перемен, а значит,

оно принадлежало ему. Историям отца он отводил роль не путеводных звёзд, и не фонарей на своём будущем пути, но молчаливых попутчиков, случайных светлячков в придорожной траве.

Идея ухода, дороги, изменения себя и своей судьбы через ту дорогу, росла и крепла в нём, формировалась вместе с ним и сама по себе, внутри него и рядом с ним, подчас опережая его, ведь идеи не спят. Потому, пока он спал, она разрасталась, и, открывая глаза поутру, он видел её столь окрепшей и обширной, застилающей, заполняющей всю действительность вокруг него, обнаруживал её такой мощной, что пасовал перед ней, разочаровывался в вероятности воплощения её, развенчивал собственные силу и волю.

Но идеи мудры, как болезни. Они умеют уступать, отступать ровно так, чтобы даровать человеку, коим владеют безраздельно, краешек, где тот мог бы взрастить новую пищу для своей хозяйки.

Было и кое-что ещё. Нечто давно жило в самом доме. Вероятно, оно было в доме и до появления Петра. В то самое время, когда идея влекла его к порогу, это нечто, невидимое, но осязаемое подталкивало его в спину. Те толчки, что он так явственно переживал, со временем становились всё сильнее, и вот уже почти причиняли боль.

Пётр покинул дом в начале августа, не дожидаясь очередного своего дня рождения, опасаясь, что, проснувшись на следующий день, уже не будет прежним, и завидев старение его идея зачахнет, не успев вознаградить его за муки ношения её и служения ей.

Избранная им широкая, прямая дорога, на которой с лёгкостью могли разъехаться две грузовые повозки, вскоре начала рьяно петлять между лесами и полями, будто пытаясь избежать некоей, ей одной, дороге, угрожающей опасности. И таков был удел большинства дорог в их краях. Удивительно, что при обилии свободной земли, все они были обречены виться змеями, зачастую неоднократно беспечно пересекаясь друг с другом под немыслимыми углами.

Много часов шагал он легко и без усталости, и тряпичные ленты его вечной привязи к родительскому дому летели вслед ему по ветру, как ощипанные крылья. Он прислушивался к своим ощущениям и каждое находил изумительным. И то, как пружинили ноги его, как отталкивала от себя почва подошвы стоп его, как если бы вся она была на его стороне, как тянул спину его мешок, скудный и бесценный, выпестованный знак осознанного преломления судьбы своей во избежание замыкания её.

По обе стороны тянулись поля, поначалу, возделанные. Покачивались толстые стебли кукурузы, вынырившие свои початки, пшеница отдавала свою молодость солнцу, взамен принимая наряд его цветов, картофельная ботва уже начинала жухнуть, выжимая последние капли себя плодам своим. Здесь повсюду незримо присутствовали руки человечьи.

Затем поля преобразились, запестрели взъерошенными травами и мелкими цветами. Поля сделались молоды и вольны, и лишь вдали были они окаймлены тёмной, почти чёрной полоской леса, будто бровью родителя, присматривающего за своими непослушными чадами.

Тем временем солнце начинало жалить, заливая собой всё доступное ему место, и кроны деревьев таяли в белом небе, и поля вокруг сделались белёсы и пустынно.

Но он продолжал идти, пробуя новые, сухие и солёные вкусы своего решения, вкусы первых тягот. В те мгновения ничто не смогло бы изменить его, не искалечив, но не встретилось ему ни существа, ни явления, способного сломить его упорство.

Он ожидал, что большой мир наполнит его собою, а всё же голова его оставалась пуста. И он распылял взгляды по окрестностям, отдавал запах своей кожи ветру, сеял улыбки придорожным сорнякам, и не думал ни о них, ни о себе, ни о ком-либо ещё.

Так шёл он до тех пор, пока лес не поднялся на его пути.

Не дойдя до леса нескольких шагов, на самом его краю, но не в тени его, Пётр расположился на земле. Он испытывал трепет пред вхождением под неведомый ему ранее, иной свод, в прохладу чужого обиталища, где нет дорог, коих на самом деле было предостаточно. Только

то были не привычные людям тропы, а другие, невидимые человеческому взору, что подсознательно рыщет в поисках следов себе подобных, не будучи способным чужую прочую жизнь.

Лес возвышался перед ним как испытание, как время и расстояние, заслуживающее уважения, но неизменно завершающееся. Он не знал, что основа леса много прочнее времени, шире пространства, глубже звериных нор. Не знал он, что корни леса, бесчисленные якоря на прочных канатах, разбросаны далеко в стороны из-под крон деревьев. Чтобы живой корабль твёрдо оставался на своём причале в вечности, ему требовалось поистине непоколебимое крепление к земле.

И в это самое мгновение, готовя себя к вхождению в лес, смиряя трепет и взрачивая в себе почтение, человек располагался в уютной люльке из корней и корневищ того самого леса, с умилением принявшего его задолго до того, как человек решил прийти к нему.

Самые непослушные из детей леса с ветром сбежали так далеко, как только смогли, росли и ветвились на просторе, в стороне от слитного сумрачного массива. Каждое дитя представляло себе, что солнце ласкает его одного, и от ласк тех рождались тени, полосовавшие залитую светом поляну. И Петру казалось, что свет и тени неустанно движутся в его сторону, крадутся шаг за шагом, тёмная ступенька за светлой, снова и снова, и это видение волновало его.

Ломаной линией в несколько прыжков поляну пересёк заяц. Он выскочил из леса, пронёсся мимо человека, затем развернулся и ещё стремительнее ворвался обратно в лес неподалёку от точки собственного появления.

Пётр вздрогнул от неожиданного вторжения суеты в столь тягучий день. Бег зайца смутно напомнил ему о чём-то, как если бы он уже встречал зверька ранее, чего не должно было быть. Так напряжение мышц маленького существа передавалось миру, и тот будто и сам наострил уши, сжался в пружину и приготовился к прыжку.

Пётр развязал тесёмки на своём мешке. В день, когда он отправился в путь, содержимое мешка явилось следующим: фляга с водой, две большие круглые лепёшки, две головки сыра – сыра разного. Один был мягкий, домашний, его любимый – он взял его с собой из слабости. Вторую же головку, твёрдую, суховатую, он прихватил из практических соображений, полагая, что она более питательна и лучше будет способствовать поддержанию его сил. На дне мешка лежало вяленое мясо. В темноте и глубине ложа из мешковины оно сохранило прохладу, а потому Пётр решил приберечь его.

Он уложил пищу и воду в мешок накануне, и с улыбкой предвкушения завязал тесёмки. Теперь же, чуть развязав их, он испытал сильный приступ тошноты, наскоро миновавшей пищевод и раскорячившейся в глотке.

Несколько глубоких вдохов и выдохов отогнали тошноту, но навяли слёзы. Собственное неблагоразумие огорчило его теперь.

За время, проведённое им под солнцем, мягкий сыр порядком подпортился, и порчей своей захватил и одну из лепёшек. Сыр твёрдый же только покрылся слизью, которую Пётр, отдышавшись, очистил листьями лопуха.

Он ел медленно, тщательно пережёвывая, иногда и вовсе переставая жевать, держа пищу во рту, он преследовал взглядом какой-нибудь особенно нахальный луч, петлявший по самым непривлекательным серым пятнам у корней деревьев и под раскидистыми кустами, где он неизменно оказывался первым на тот день гостем. Позже придут и другие, но они уже не станут столь счастливы здесь, ибо ощутят тепло того, кто был до них.

Солнце припекало всё сильнее, смыкало веки, баюкало, обещая крепкий сон, и в то же время било по щекам, кусало за руки и за ноги, шептало: «Уходи! Ты в опасности!» Он перестал понимать солнце, таким двуликим казалось ему оно. Мечтая укрыться, он вспоминал при том не комнаты родительского дома, а саму свежесть, запасти хранившуюся в них.

Густой пот, тяжесть раздумий, путавшихся и слипавшихся, многоголосое иди, слышавшееся в каждом шорохе, заставили его подняться. Он неуклюже забросил мешок на плечо и,

пошатнувшись, неровной походкой направился в лес, обнявший его, нескладного и неурочного.

Глава третья. Волк

Усталость - родня смерти.

Я устал. Мои круги становятся всё короче, и вскорости, одним днём, или ночью, лучше, чтобы то была ночь, такая ночь, когда путь особенно отчётлив, освещённый каплями лунного света, покачивающимися на голых ветвях, - такой ночью я, наконец, исполню предначертанное, смирюсь и позволю голоду моему сожрать меня.

Сон мой тоньше день ото дня и уже не приносит облегчения. Он питает не меня, но мой голод. Всё ему, всё – голоду. Весь мир цветёт и умирает ради голода, вечного, неуголимого, беспощадного голода. Пока мы молоды, и силы есть, и стремление, и любовь, – ещё возможно откупиться, торговать отсрочку, обмануть вездесущего. А что потом?

Моё время давно прошло. Не осталось ни стай, ни семей. Более мелкие мои сородичи лают фальцетом и охотятся толпами. И даже толпой не всегда оказываются они способны на убийство. Они лишь ранят, обворовывают, откусывают свои куски и сбегают, приносят новые страдания, не завершая предшествующих.

С заходом солнца меня разбудит филин. И вновь я стану мчаться по кругу. Так ли я отличаюсь от зайца в вечном его беге?

Два звёздных полотна смотрели в глаза друг другу. Одно из них, по праву звавшееся небом, наклонилось, чтобы обнять лес, огромный, густой, и такой одинокий лес, с высоты казавшийся слабым, умирающим. А может, он уже был мёртв. Или же всё идёт по кругу, и лес умирает каждый вечер, возрождаясь к жизни наутро. Так или иначе, звёздам ведомо одно положение вещей, единственный расклад ночи, и, не будучи в силах заглянуть вглубь, внутрь тела леса, они горевали о лесе, том лесе, который они имели желание познать.

Но однажды, то ли под грузом бездейственного сочувствия, то ли под притяжением горячей летней почвы, небосвод со всей своей страстью очутился опасно близко к лесу, и, распахнув миллионы очей, всмотрелся в него, а затем изумлённо отпрянул, столкнувшись с ответным многопиковым взглядом ночного леса, сверкавшего отблесками лунного света на остроконечных завершениях сосен.

Его лес был мрачен. Он сам его выбрал. Он был обречён снова и снова выбирать его тёмное, в росчерках ветвей, небо, угольную траву, призрачные тропы, становившиеся тропами по его велению и растворявшиеся в подлеске за его спиной. Тропы мгновенно забывались, но не забывали замечать следы его. Они впитывали пот его, запах его, поглощали, любовно укрывали мхом кустарниковый лом, оставляемый им, будто благодаря своего создателя за краткий миг своего существования.

Тропа есть тропа, когда она угодна путнику. Путь есть путь пока жив идущий.

Он же помнил каждую ветвь, хлестнувшую его, каждую колючку, оцарапавшую его, каждое древесное тело, осмелившееся преградить ему дорогу. Он знал и помнил каждого, и каждый из них награждался усмешкой, или оскалом, или же ударом лапы. Он непрестанно защищался, не помня, от кого следует защищаться, позабыв, что не было у него врагов, за исключением того, кто смотрел на него с поверхности водной глади.

Его нос и губы пребывали в постоянном напряжённом движении. Каждый волосок его был вовлечён в дело его жизни. Он чуял, выслеживал, искал и находил. Если бы не вечный, проклятый голод его, он мог бы стать родителем поколений исследователей и изыскателей.

Он шумно втягивал в себя воздух и с усилием выдыхал его. В подошву задней левой лапы впился шип. Шип он выкусил, но лапу саднило. Немного болели шея и мышцы спины. Эта боль была сродни удовольствию, ибо удовольствие она и возвещала.

Молодость его давно миновала. Всё чаще он ложился спать голодным. Но этой ночью ему повезло. Он то и дело облизывался, непроизвольно, лёгкая улыбка скалила пасть, ещё хранившую следы крови и привкус её.

Он был сыт. Точнее, он будет сыт в самом скором времени. Потому как ел он слишком быстро, гонимый голодом, что ко времени трапезы зачастую становился особенно жесток, и страхом встречи с другим хищником. Впрочем, других он не встречал уже очень давно. Но память о них была передана ему по наследству.

Однажды давно ему довелось встретить рысь, изящную, округлую, блестящую и счастливую. Он любовался ею на расстоянии. Она позволила рассмотреть себя, а едва он успел уразуметь реальность её существования - она скрылась из виду. И всё же, в тот день он и сам был молод, его движения были верны ему, а носом своим он мог лицезреть весь мир, не открывая глаз. Их погоня была прекрасна. Она походила на танец. Музыка их бега и прыжков ещё иногда звучала в его ушах. Они охотились вместе, и добыча доставалась тому, кто был более удачлив в охоте.

Где теперь та рысь? И что стало с ним самим?

Так мало любви. И так много голода.

С оглядкой пересекал он небольшую естественную поляну в глубине леса, в центре которой мерцала неглубокая лужа, оставленная давними дождями, но так и не обнаруженная солнцем, стирающим влагу с лица леса. И позабытая лужа гнила изнутри, не будучи способной утолить чью-либо жажду.

В ней он узрел собственную тень, покорёженную, остроугольную, с опущенной вниз головой. За выступами лопаток начинался горный хребет позвоночника, завершавшийся тазовыми костями и почти змеиным хвостом. И он провёл лапой по воде, вызвав рябь, утянувшую его отражение на дно.

Он жаждал сытости, готовился отдалиться ей и насладиться ею. Сытость никогда не приходила к нему надолго. А он верно ждал её, так как подле неё он умел размышлять о чём-то, кроме ненавистного голода. И он спешил к озеру, чтобы утолить вслед за голодом и жажду свою, дабы и та не досаждала ему в час покоя его.

Подходя, он уже понимал, что пока шёл он сквозь лес своих воспоминаний, ночь была побеждена. Её время истекло. Он приближался к свету, щурясь и морщась с непривычки, не оставляя надежды исполнить задуманное и незамеченным вновь скрыться в чаще, куда солнце достигнет ещё не скоро.

Он помнил это озеро в окружении берёз, в белом венке, в чистоте. Он знал его в то время, когда и сам он был чист. Тогда у него была мать, и она была рядом. Тогда у него был отец, он стоял на противоположном берегу озера. Его отец стоял там, где сейчас резвился маленький лосёнок, прыгая и припадая к земле, и опять вскакивая, и кружась.

В тот день именно здесь свершилась его первая охота. И он видел гордость в глазах матери, сияющую поверх пелены слёз. Или же просто поверхность озёрных вод отразилась от солнца и угодила прямо в её взор. И с тех пор не встречал он ни матери, ни отца.

Вернувшись в день настоящий, он осознал, что не только он и лосёнок избрали озеро для себя тем утром. Он втянул ноздрями запах человеческий, и услышал голоса человечьи, и плеск воды.

Он не ощущал угрозы, но и охота на человека не манила его. Он и сам не мог бы сказать, было ли так оттого, что он был сыт, или же кровь его была стара, или же родовая память о зле человечьем поистёрлась.

Или, возможно, само солнце противилось осуществлению ночных привычек и навыков его в своём присутствии.

Немногим выступив из кольца берёз и оглядевшись, он не увидел людей, за исключением одного, совсем маленького, меньше лосёнка. Дитя человечье сидело в траве на берегу его озера, и смотрело на него.

Взгляд ребёнка, полный спокойного, уверенного, привычного одиночества, заставил зверя повернуть и безвольно пойти по свету вдоль кромки воды, чтобы приблизиться.

Волк идёт, и, вопреки законам перспективы, с каждым шагом его человек казался тоньше и хрупче. Ещё немного, и тот уже становится схож с зайцем. Совсем немного мяса и никакой прыти при том.

Вдруг нечто, принадлежащее ночи и хранимое в самой глубине, куда нельзя проникнуть лучу, в чаще самого волка нечто шевельнулось, обнаружив себя. Затем оно начало расти вширь и вглубь, натягивая сосуды и нервы, захватывая всё больше существа зверя.

Тогда мышцы волка напрягаются, пасть его наполняется слюной, а зрачки сужаются. И не существует препятствий, кроме глаз ребёнка. А в тех глазах сквозит иной мир, где не станет места голоду, или жажде, или сомнению, но будут свет и тепло. И кто-то ещё.

И волк рычит, негромко, сквозь зубы. И останавливается. Потом мотает головой и опять идёт. И вновь останавливается, приседает на задние лапы, скулит. Он был слаб до того, теперь же он и вовсе обессилел.

Так он подходит к человеку, и, опустошённый, опускается на землю у ног его. Он заглядывает в глаза человеку. Человек отражается в глазах волка.

Вот! Вот оно! Не зря оно звало меня. Всю жизнь я шёл сюда. И не важно, что будет дальше.

Он кладёт голову на колени человека, и тот накрывает голову его своей ладонью.

И волк умер, как умер и его лес, и ночь, и голод, как умерли его бывшие тропы и лежанки, и та цветущая ложбина, по дну которой в то самое время, переваливаясь, брела отяжелевшая рысь.

Он не видел, как над их головами пролетел воздушный змей. Он понял, что-то происходило в небе, потому как ребёнок запрокинул голову и вытянул шею. Но ладонь ребёнка по-прежнему покоилась на голове волка, и тот понимал, что уже не изменит ей, и оттого ему сделалось сладко.

А за непроницаемой стеной из тонких белых берёз с налитыми кровью глазами метались преданные предки.

Глава четвёртая. Ночь

Ночь настигла его в лесу неожиданно, так как сумрак лесной чащи помешал ему в силу его неопытности предвидеть её наступление. Опустившаяся на землю тревожная прохлада да влага на листьях кустарников подсказали ему, что время человечье закончилось, и наступают звериные часы.

Вокруг него высились вековые сосны, отпускаявшие от себя нижние ветви свои на великанской высоте, а верхушки растворявшие в неумолимо темнеющем небе. Их рыжие стволы полосовали обзор, изредка приманивая на себя остывающие лучи уставшего солнца. Издалека донеслась кукушечья шутка, и Пётр улыбнулся ей.

Густой сосновый аромат и заботливо расстеленная хвойная перина сманили его. Прислонившись спиной к одному из деревьев, он провожал свой первый день, и не дождался его завершения. Его разум всё ещё оставался пуст, но глаза, уши и ноздри переполнились новым опытом, и он сделался тяжёл и подавлен.

Выпустив из памяти неясность собственного будущего, опьянев от запахов леса и от содеянного им побега, укрывшись идеей, мягкой, почти расслабленной, любившей его как никогда ранее, он сомкнул веки. И кукушка замолчала.

Когда он очнулся, ночь уже завершала первый обход леса, о чём возвещали филины со всей округи, как часовые на вышках. Сосны, замотанные в тени, переплетались между собой и с чёрными провалами пустоты, днём притворявшимися тропами. Он был окружён единой серой стеной, и редкие рыжие всполохи в свете единственного далёкого фонаря – луны – походили на ржавчину на теле леса.

Утрамбованная недавними ливнями хвоя приобрела графитовый оттенок. А над его головой, вероятно, в вышине таился вселенский небосвод. Впрочем, ночью неба не разглядеть, пока не откроет оно очи-звёзды, а в эту ночь оно пожелало остаться слепым.

Лунный луч вцепился в частицу вечерней росы, но порыв ветра качнул ветвь, и капля, хватаясь за своего светлого спасителя, унося частичку его за собой, устремилась в темноту. Та же не могла ей навредить, и капелька, нежная, незримая, достигла матери своей земли, и прижалась к ней, и мать приняла её в объятия, и воссоединились они.

Он понял, что не останется в одиночестве в своей новой постели. Конечно же он знал, что лес обитаем. Он видел книжки с картинками, изображавшими зверей. Иногда до него долетали и обрывки рассказов старожилков поселения.

Оказавшись же на пороге встречи, в своём мерцающем состоянии, на грани сна и бодрствования, он принимал гостей, истинно не веря в происходящее. Но события последующих лет укрепили его в воспоминаниях об этой ночи.

Они приходили к нему из тьмы и уходили во тьму. Он едва мог разглядеть их, и вместе с тем твёрдо знал, когда они были рядом. Он нарёк каждого из них, и не боялся их, как может не бояться лишь ребёнок. Только ребёнок имеет право на бесстрашие, веское, неколебимое, скреплённое клятвами небесных светил, и потому заставляющее зверей трепетать и подчиняться.

Гибкий шнур возник из-под коряги неподалёку, напоминавшей поваленную чёрную табуретку, и приблизился к стопам человечьим. Потом шнур свернулся кольцом, а широкий его конец приподнялся над землёй и две пуговицы мёртво воззрились на незваное, непринадлежащее этому месту создание.

Уверовавшись в его неподвижности и беззлобии, змея проследовала дальше в свою жизнь. Но она унесла с собой в чернеющий подлесок мысль о нём. Эта встреча развлекла мудрое создание, и она будет вспоминать его, такого простого, одуревшего ото сна, чуждого, а отчего-то родного, присыпанного хвоей и пахнущего травой.

Тощий волк приближался к нему, поджав хвост и непрерывно облизываясь. Он не скрывал своих желаний, как никогда не скрывал он сущности своей, а лелеял её, и оправдан был ею.

Пётр не нашёл в себе сил и руки поднять. Когда волк был уже на расстоянии прыжка, раздался треск и из-за деревьев вышел крупный лось, с огромной, увенчанной короной головой и крепкими ногами. Волк издал хриплый лай, попытался взвыть, но закашлялся и наскоро скрылся из виду.

Лось же наклонился к человеку и приблизил свою волосатую морду с огромными глазами и пухлыми влажными губами почти вплотную к лицу Петра. От дыхания лося веяло яблочным спиртом. Так они впервые всмотрелись друг в друга.

Высоко в ветвях же всё происходившее наблюдало множество птиц, но никто из них вовек не решился бы вмешаться. Народ сказителей, вокалистов и сплетников не суёт клювы в дела приземлённых тварей. Эта их отстранённость навсегда врезалась в память Петра, сквозь сны об угрозе и о будущей дружбе проникла в самую душу и выросла в неё.

Позже он мечтал рассказать, объяснить птицам, что отнюдь не всё вокруг так бескрыло, как им кажется с их высоты, а затем убеждался в их певческой глухоте, и в конце концов оставил эту затею.

Дождь умывал и очищал лес и поля, зверя и человека. Редкий живой на утро после дождя не улыбнётся, увидев похорошевшую зелень, и влажную, гордую почву, готовую вот-вот вновь родить, и радостную реку, у которой изрядно прибавилось сил. Животные чают дождя и благодарны ему, ведь он пополняет их запасы воды и даёт начало новым сладким побегам. И только люди стали реже выходить под дождь, будто опасаясь, что дождь с лёгкостью смоем всё, чем те так гордятся. Не исключено, что так оно и случится, ведь такое уже бывало раньше.

Ночью же слабость человечья стремится раскрыть глаза как можно шире, что вовсе не будет способствовать лучшему видению, и всё же непреодолимо хочется сделать это просто из веры, от внутренней потребности сделать что-то, чтобы сумрачный мир вокруг стал ближе и понятнее, а значит следует распахнуть глаза, всей сущностью своей погрузившись во зрение внешнее, напрячься и красться, стать частью сумрака, схорониться и сберечься в нём.

Но когда первый свет поцелует широту, напряжение оставит человека, и глаза обратятся в двери, открывающиеся в обе стороны, впускающие мир внутрь и выпускающие душу в мир для краткого мгновения единения живого существа и пространства.

Пётр распался на круги и якоря, идеи и пути, отца, мать и лося, а между всем тем танцевала всемогущая юла, и по её мановению все они сызнова собирались в единое, разве что в ином порядке. Он смотрел на огни глаз, слушал музыку воды, опирался на стены леса, и так, сидя в грязи, он обновлялся, перерождался, становился иным, не лучше, а всего лишь не прежним.

Те, кто наблюдал за ним, видели не всё, но и видевшие не всегда понимали значение происходящего. Некоторые же отворачивались совсем, погружаясь в воспоминания собственных перерождений, - те, кто уже пережил предпоследнее из них, что являет существо иное, и вместе с тем более слабое, завершающееся.

А Пётр опять уснул. Или, напротив, наконец проснулся. Или же между теми событиями миновало мгновение. Или же бессчётный рой их, краткая, точечная вечность, кою преодолевает живое существо, превращаясь в самоё себя.

По правую руку его сверкала зеркальная плоскость площадью не более полуметра. Она образовалась, когда дождевая вода до краёв наполнила небольшое естественное углубление в почве. Дождь закончился, ветер утих, и поверхность лужицы смиренно возлежала в солнечных лучах.

Пётр закрыл и вновь открыл глаза. Ему почудилось, будто в зеркале отразилась далёкая неприкаянная радуга. Не поднимаясь от земли, он протянул к зеркалу руку, зачерпнул из него горсть серебра и плеснул его себе в лицо.

Первым, о чём он подумал утром, был родительский дом. Должно быть солнцу следовало завершить полный круг, совершенный в своей отточенности, краткости и верности самому себе, и по завершению круга человек впервые вспомнил об отправной точке.

Пётр почему-то попытался представить себе дом без себя в нём, родителей, сидящих за столом, за которым нет его. Затем мать начинает скрести посуду, а отец выходит во двор наколоть дров. Зарисовки их размеренной, расчерченной, как огород, жизни, медленно плыли перед его глазами, и не видел он ни рыданий матери, ни затаённой горькой печали отца, укрытой бранью.

Лицо его было мокрым, но солнце непременно исправит это на новом круге.

Глава пятая. Лес

Встревоженный и увлечённый ночными видениями, он выбрал для себя новое пристанище с травяным полом и хвойной периной, под небесным потолком и за древесными стенами, разделёнными, но воссоединёнными в едином доме, имя коему было лес.

Весь день он бродил по окрестностям своего ночного приюта.

Суетный заяц попадался ему на глаза то тут, то там. Вероятно, это были разные зайцы, или же один и тот же. И всякий раз тот срывался с места и исчезал в ближайших кустах, как было свойственно его природе, с коей он не умел совладать, и о коей во век не размышлял долее мгновения до следующего побега. Пётр едва успевал подсмотреть, чем заяц питается, хотя мельчайшие движения его были почти не различимы одно от другого в ореоле страха.

Чуть начало смеркаться он встретил зайца вновь.

В своей новой жизни, Пётр понимал это и не противился, ему предстоял и новый выбор, более сложный, уже не человеческий, а животный. Он готовился к нему, сидя, не шевелясь, под кустом боярышника, не трогая ни ягод его, ни листы и ветвей, лишь бесшумно наблюдая за мягким серым тельцем, притулившимся в зарослях в нескольких шагах от него.

Не сочувствие к комочку жизни неподалёку определило его выбор, а само пересечение их, которое он наблюдал будто со стороны, их близость, к коей он стремился целый день, и только один день. Ему не верилось, что всего за день в лесу он сумел справиться с собой и должным образом подобраться к зайцу. Теперь же он довольно разглядывал его, не знающего о присутствии человека, не подозревающего о хищнике за своей спиной.

Несомненно, так рождается и разворачивается пред дышащим существом сама суть выбора. Ибо выбора не существует, когда не в возможностях существа осилить оба пути, как не существует выбора между возможным и невозможным. Но войдя в ум, и силу, и ловкость, уверовав в душе своей и убедившись на деле, что совладаешь с собой на любой из дорог, тогда только можно достойно отправиться в избранном направлении.

Так, сидя в глубоком сумраке под кустом боярышника, Пётр ощутил себя в праве сделать выбор, что был предпрешён ещё минувшей ночью, когда он заглянул в большие влажные глаза лося, а луна предательски посеребрила волоски на морде зверя.

Отужинав оставшимся у него хлебом и ягодами боярышника, он оставил после себя под ветвями пестреющего дерева заботливо уложенное на подносе из травы вяленое мясо, вскоре растворившееся в ночи.

Он сделал свой выбор. Он выбрал не пищу, но мысль, не удовольствие, но знание. Он вырос на голову, расправил плечи, улыбался сам себе и по новой окружившим его соснам. Чувствуя себя готовым к лучшей жизни, что непременно должна быть дана ему наградой за верные решения, за противление и оставление, он не видел и не слышал, а потому и не ведал горя, кое сотворил, а значит того и не существовало вовсе.

Он пришёл из ниоткуда – места, по его желанию преданного забвению на долгие годы. Явив себя самому себе и лесу, и он чувствовал, что лес принимает его, возможно, не всего сразу, не целиком, а всё же принимает. Он же готов был ждать.

Из еловых лап Пётр соорудил себе что-то вроде шалаша. Он создал его ровно на том месте, где провёл первую свою ночь в лесу.

Как и в тот вечер, когда он выследил зайца, Пётр не мог ответить себе, откуда в нём знание. И в то же время действовал он решительно, не раздумывая. Он понимал, что может ошибиться, может выбрать не лучший вариант конструкции или же неподходящие материалы, и он уже был готов к бременю собственных ошибок, попросту делая то, что подсказывал разум.

И он взял за основу еловые лапы, и наломал молодого ивняка для их скрепления. В этом скромном жилище он готовился встретить зиму, но едва пришла осень – он опять отправился в ельник. И у шалаша появилась дверь, которая сдерживала ветер.

Ещё до первого снега поверх хвойного пола был также уложен пол другой, еловый с лиственной простыней. А с приходом морозов весь шалаш оделся вторым слоем еловых лап.

Пётр часто подсматривал за зайцем, вновь и вновь выслеживая его на его пастбищах, где тот спешно грыз одуванчики, или пижму, или сурепку.

Не раз бывало, что на закате заяц стрелой устремлялся в сторону ближайшего поселения, чтобы полакомиться злаками, подсолнечником, а иногда и погулять на бахче. Тогда и Пётр выходил из леса, будучи, как заяц, постоянно начеку, он прокрадывался к заднему краю засеянного поля, или огорода, или фруктового сада, и ел, пока не наедлся, не делая запасов.

Он страшился встречи с людьми, более опасаясь, что те пожелают вернуть его себе, нежели возмездия за убыток урожая.

Зимой же, в голодное для леса время, человек вслед за зайцем обдирал кору клёнов, дубов, осин и ив, росших вдоль лесной речки, быстрой и жгуче ледяной даже в жаркие летние месяцы. Когда же голод становился невыносим, он опять совершал набеги на человечьи хранилища, полагая такое одолжение не менее естественным, чем заимствование еловых лап у ельника.

Однажды он заметил на дороге фигуру, напоминавшую его собственную, не раз виденную им в отражении спокойной озёрной воды. Пётр не успел выйти из леса, а потому пригнулся, чтобы вернее остаться незамеченным. Фигура прошествовала мимо него, не повернув головы, и скрылась за поворотом.

Было очевидно, что человек на дороге много старше Петра, и тот принял его за видение собственного будущего, что пришлось ему не по нраву, так как не желал он многие годы топтать одну и ту же дорогу. Но образ тот вскоре истёрся из памяти его будничными хлопотами о пропитании и заботливым, баюкающим шумом леса, что с каждым днём всё более открывался ему.

Пётр учился различать голоса леса и вскоре по стонам его мог угадать обидчика его. Он учился распознавать запахи леса, лиственные, хвойные, цветочные, а ещё – запахи живых существ, коих как он быстро понял вокруг него кралось много более, нежели он видел глазами своими.

Он учился различать ветра, многообразие коих не переставало его удивлять. Позднее, он начал догадываться, что его коллекция ветров – лишь доказательство многогранности единственного и единого ветра, чьи настроения порождали разнообразие фактур и оттенков, тончайшие сочетания температур, скоростей и направлений, слепков земель, пройденных накануне, формируя воздушные цветы неповторимых форм и ароматов.

Птицы, верхний народ, народ ветвей и крон, наблюдатели и судьи, смотрят, слушают, разносят вести во все края, а никогда не вмешиваются. Вечные соглядатаи, весёлые и веселящие, поющие песни времён года, рек и полей, и единый хор леса, дома их, колыбели их.

Пётр учился различать их голоса, и песни их учил, переводил на язык человеческий и напевал их, по-своему, в часы, когда серое становится чёрным, а птицы умолкают, только не совы, но все прочие спят, покачиваясь на руках леса.

Однажды давно, созрев, как диковинные фрукты, они начали покидать леса и рассеиваться по миру. Должно быть, он встречал их и ранее, под крышей родительского дома, в закоулках сада, и не знал их. Только теперь он прозрел и обрёл слух: птицы заволокли голову его, и он почти простил им равнодушие их.

Пётр изучал зверей по их тропам, по вмятинам на влажной почве, по кустарниковому лому, царапинам на стволах деревьях. Наблюдая их в разное время, он мысленно расположил

их на круге циферблата, прочувствовав всю ценность его для гармонии леса. Он предугадывал их движения в пространстве, в поисках пропитания, или же осторожной встречи с иными своего рода, трепетания тел их, подёргивания шкур, ушей и хвостов. Перенимая их ритм, он стал понимать и внутренние их стремления. Он видел в звериных мордах человечьи черты, и так он постепенно проникал в мир их желаний и страхов, надежд и печалей.

В первый год большинство звериных лежищ оставались для него загадкой, надёжно сокрытой тайной. Ветви деревьев и кустарников смыкались на его пути, не допуская его видеть недозволенного. В то же время на его глазах крупное животное могло проникнуть внутрь колючих зарослей, будто призрак сквозь стену, не издав ни единого шороха или хруста.

Первым же ему открылось место встреч, где иными вечерами лось под крылом раскидистого старого дуба рассказывал лесным обитателям свои истории. Пётр подкрадывался к общему кругу, скрываясь за спинами зверей, и старательно вслушивался, но был ещё не в состоянии разобрать слов. Прошло время, прежде чем звуки, грубые, доисторические звуки начали обретать для него смысл. Так, как то случается со многими новорождёнными существами, первым он обрёл слух.

А вскоре за тем открылись и глаза его. Как звуки звериных голосов складывались в слова, так зелёное кружево, ранее ревностно оберегавшее свои сокровищницы, стало под взглядом его распадаться на отдельные нити, в конце концов являя потаённые лазы, окна и двери леса, за которыми животные чаяли пребывать в покое во время отдыха своего. Дурная тоска в глазах потревоженных им зверей вынудила его отступить, и вскоре, улавливая уголком глаза очередную дверь, он тихо обходил её стороной.

Недоступной ему оставалась речь. Речь звериная не поддавалась ему и много позднее. Спустя годы он всё ещё говорил на чистом человечьем, говорил немногословно, и в то же время неуклонно расширяя свой словарный запас, черпая новые слова из старых образов, семейных сценок родительского дома, посещавших его тайком, во снах, дабы не смущать его в новой лесной жизни.

Он было пытался копировать самые частые из звуков, услышанных им тайком в чаще, или же на месте встреч. Но звери, услышав его, бежали от него.

И всё же с течением времени он узрел понимание в их глазах, хотя сам говорил без упования на оное, но лишь потому, что горел выразить то или иное своё стремление. Его простые, человечьи слова отзывались в звериных сердцах.

Отдавшись собственным ощущениям, впитывая новый опыт, непрестанно удивляясь, смиряясь и принимая, он не заметил, как, незримо для него, звери проделали путь неменьший: пообвыкнувшись поначалу с запахом его, разучив шум шагов его, речи его, песни его, что он тихонько пел самому себе и лесу, прекратив замечать его вовсе, не дивясь и не смущаясь его присутствию среди них, они начали понимать его. Изумившись, они приняли новый дар свой, дар человечьего в животном, и лесная жизнь потекла дальше привычным своим распорядком.

Внимая верхнему лесу, питаясь и обучаясь в лесу среднем, он до следующего лета ничего не знал о лесе нижнем. Но после апрельских дождей и майских заморозков, когда солнце стало с каждым днём трудиться всё усерднее, а земля уже взрастила достаточное количество пищи для изголодавшихся чад своих и, устав от зимней тоски и весенних забот, приняла любезность солнца и позволила тому согреть себя, Пётр чаще стал обнаруживать себя лежащим на поляне, на той самой поляне, у кромки леса, где он когда-то впервые на его памяти повстречался с лесом.

Он лежал на юной траве, а над ним танцевали облака, разные, всё время видоизменяющиеся, густые и почти прозрачные, белые, серые, голубые, розовые, золотые - они гарцевали над ним то с птичьей стремительностью, то лосьей вальяжностью. В тех облаках он видел лица родителей и своих новых лесных друзей, и незнакомых ему женщин и детей их, которых те сначала бережно баюкают, прижав к груди, а затем ведут за руку глубже и глубже в жизнь.

В пасмурные дни он наблюдал, как крупные густые облака тянутся друг к другу, словно грязные жирные овцы, ближе и ближе, а затем соприкасаются, и одна овца залазит на другую, потом третья громоздится сверху, и так далее, и далее, и вот уже овечья башня застит всё небо, и неба нет, и солнца нет, и земли, выходит, скоро не станет, и только башня продолжит блять под тяжестью самой себя.

Но наступает день, когда облака лениятся покидать свои логова, а солнце, напротив, отчаянно сражается за всю широту мира, и в том бою ослепит, ранит не одно живое существо, заполняя пустоты своим горячим светом.

В такой день он перевернулся на живот, чтобы дать отдых своим глазам. И когда он смог снова ясно видеть, его взору открылся иной мир: города и дороги, строения удивительной архитектуры и лабиринты, уходящие вглубь под кожу матери-земли.

Под пучком незабудок играли чью-то свадьбу, в углублении между стеблем и листьями подорожника резвились несколько стаяк усатых детишек, а чуть поодаль пыхтел целый завод, наполненный крошечными прилежными тружениками.

Пётр и раньше понимал, что птиц в ветвях деревьев много больше, нежели зверей, топчущих тропы между ними. Но его новый лес оказался ещё куда гуще и живее, и он не мог счесть видов жуков, пауков, червей, населявших самую земную поверхность и подпола её.

В стремлении рассмотреть, или даже понять их, он приблизил к ним своё лицо, миновав острия травы, её кисловатый аромат, прикинув к самому началу, истоку твёрдому, вплотную к почве, родящей, кормящей, невероятным усилием носящей на себе их всех.

И они были там, жили, дышали, любили друг друга, их глаза видели, их уши слышали, их сердца колотились, когда он застил им свет.

С того дня и на многие дни Пётр перевернул свою жизнь, отвернувшись от неба, от солнца, он возлагал свои ладони на почву, затем поворачивал голову и припадал к земле одним ухом, лежал так часами, наблюдал, искал и находил в существовании нижнего леса черты, кои роднили его с лесом, уже известным ему.

Во время своих наблюдений он старался не шевелиться, и такое отрицание движения поначалу смутило его, так он решил, что изменяет себе и своей идее. Но затем он впервые принял созерцание как своё новое движение, движение ума и сердца, каждый шаг которого много больше, длиннее, вечнее во времени.

Однажды, пребывая в столь полюбившемся ему нижнем лесу, Пётр вновь встретил её. Он узрел её немигающие холодные глаза, мёртвые глаза живого существа, существа дышащего, колышущегося в возмущении, раздражённого их близостью и винящего его за то.

Увидев её, он сразу узнал её, ибо после их встречи в его первую ночь в лесу он видел не раз её в своих кошмарах, навеваемых грозами и метелями. Во снах она являлась ему неким естественным и совершенным злом. Во плоти же она страшила и манила его одновременно. И он последовал за ней.

Он полз на животе, отталкиваясь коленями и ступнями от почвы, хватая руками пучки травы и подтягиваясь за ними - не вверх, а вперёд. Он останавливался, когда останавливалась она, и продолжал движение, как только она устремлялась дальше. Он снова и снова сворачивал вслед за ней, и при том берёг расстояние, что установилось между ними, как наивысшую ценность, хрупкую, но, вместе с тем, основополагающую.

И он бы следовал за ней, пока она не убила бы его. Но путь ему преградила чья-то нога, поросшая длинным волосом и увенчанная копытом. Пётр остановился, а змея мгновенно скрылась в подлеске.

Встав от земли, человек увидел удалявшегося в сторону леса лося. Вопреки всему, что годами питало его, взрастив чудовищных размеров идею бегства, свершённого и нераскаянного, вопреки одинокому детству, проведённому наедине с легкомысленной юлой, вопреки

всему немногому, во что он верил, он верил и в лося. Глядя вслед зверю, покидавшему его едва отведя опасность, он чувствовал себя не покинутым, но обретшим. В том, как величественно уходил лось, он не видел ни безразличия, ни предательства, а обещание одно.

В следующий раз лося он встретил уже в начале зимы и не сразу признал того без его роскошной, древесной короны. Были и иные изменения во внешности зверя. Исчезло серебро с его морды. Оно осыпалось на землю и укрыло почву, поблёскивая в редких лучах холодного солнца. Лось же увеличился в размерах, шерстяное одеяние его разрослось и утолщилось, и он смотрелся непоколебимой скалой среди оголённых прутьев своего леса.

Глава шестая. Лось

Он ходил известными тропами, широкими, хранившими на себе бесчисленные следы, где мог он быть уверен, что не повредит ни единого ствола, не сломит ни одной ветви, и даже трав цветущих он старался не заминать. Каждый шаг свой он проживал как событие, как дело, которое нужно свершить в полной мере, как радость, выстраданную и заслуженную.

А потому шёл он медленно, снисходительно принимая взгляды, уважительные к его возрасту и опыту, к жизни, что он прожил, к знаниям, что он скопил и теперь щедро раздавал, со смиренным сознанием того, что лишь редкие одиночные капли мудрости его попадут в хоть сколь-нибудь толковую почву.

Он знал, что важен для других обитателей леса, но также понимал, что выглядит, шествует и ведёт разговор именно так, как ожидается от него. И что никто, ни единая душа вокруг него не ведаёт, сколько сил, слабых сил его, последних сил его отнимает у него то неспешное тихое существование, так успокаивающее и умиротворяющее толпу.

Давно уже испытывал он ломоту в спине. Его толстая шея утратила былую гибкость. Гладь озера высвечивала седину на его морде. Впрочем, казалось, она делала то с почтением и уважением, столь величественным отображала она облик его. Или же серебро его шерсти обманчиво роднило его с водой.

Вездесущие птицы знали о слабости его и бездушно распевали её по всему лесу, но лес отказывался верить в птичьи побасёнки, лелея вечный образ старца, что рисовал он сам.

И всё же промозглыми ночами лось клял вовсе не немощь тела, а беспокойную голову свою.

Длилась вечность его размышлений о природе знания, что жило в уме его. Неведомо как зародившееся, оно крепло год от года, росло и тяжелело до тех пор, пока не стало угнетать самую его суть, поработать и властвовать. И вот уже гордый лось всё чаще, в одиночестве, пил горечь сомнения так ли сильно отличается он от какого-нибудь выючного осла на голой горной тропе, уныло и безропотно волочащего свою поклажу.

Долгое время он пребывал истинно убеждён в ценности своих историй, просочившихся из глубины времён, одушевлённых предыдущими поколениями, выверенных собственной жизнью. В юности он чуял и осязал их, впитывал их телом своим и с наслаждением погружал их в себя.

Но осталась далеко позади та часть пути его, когда надлежит применять мудрость предков для устройства самого себя в мире, оставляя за собой израненных соперников, покинутых самок, недосмотренное потомство, кипы обломанных ветвей. И он правил сказания, доверенные ему, с надеждой на предотвращение повторения извечных ошибок будущими поколениями.

Молодые лоси, а с ними и олени, и поросята, и юные зайцы, для которых бег ещё в радость, и даже лисята, волчата и медвежата, почти не знакомые с охотой, едва начинающие понимать суть круговорота все они приходили послушать его, разумеется, под присмотром самых старших из своих родичей, тощих и седых хищников, доживающих, но ещё уважаемых, способных к надзору, но обуздавших свою сущность. Слушали его и птицы, и тонкие змейки. И многие другие сходились, слетались и сползались в одном месте, когда лось начинал говорить.

Но глядя на них, поверх них и внутри них, лось постепенно осознавал, сколь слаба была его мудрость. Она не достигала, не была способна достичь слушателей его. А то, что доносилось, принималось ими с благодарностью - как сказка, как мечта, как история, без угрозы повторения, без пыли разумного предостережения, без повода к рассуждению.

Так начал он тяготиться собственным знанием.

Ещё позднее пришла ясность, что, если бы предотвращение было осуществимо, оно непременно было бы предупреждено тысячами лосей, бывшими до него.

И он смирился с бессмысленной ношей своей. Не ища чужих глаз, он вещал, опустив взор, бубнил, путал слова, и некоторые те, что из молодой поросли посмеивались над ним, с высоты невинной и неумной юности своей полагая его отошедшим от ума его. А он знал о том, и не беспокоился, и не препятствовал.

Скоро, уже совсем скоро вызреют яблоки. Они помогут мне забыться. Яблоки будут бродить во мне. А я стану бродить кругами, как бродят все и всегда, но только хмельной и счастливый, пусть ненадолго, пусть некрасиво. Я буду шататься и спотыкаться, и младенцы станут смеяться надо мной. Всё будет именно так, потому что того хочу я.

Я желаю этого, ведь когда ноги мои начнут подкашиваться, а язык начнёт заплетаться, тогда голова моя сделается пуста и легка, невесома, как одуванчиковое облако. Все истории мои улетучатся, как пыль, как человеческий мусор, носимый ветром по округе, перекладываемый с места на место, но никогда не рядом, не в единственном хранилище, не в одной голове.

За что мне моя голова? За что?

Пожалуй, мне стоит присмотреть лежанку ближе к диким яблоням. Мне потребуется больше яблок этой осенью, ибо я буду одинок. Ни одна не откликнется на зов мой более. И я признаю поражение. Я буду есть яблоки, пока не забуду их всех. Или же, пока не вспомню хоть бы одну.

Молодые шепчутся, будто одиночество – есть страдание. Я бывал одинок одиннадцать месяцев в году. И я любил эти одиннадцать. И всё же любил я и двенадцатый.

Меня ранит тишина, что отзовется на мой крик, а яблоки залечат ту рану. Хотел бы я быть в силах и вовсе обуздать, приструнить самого себя, как пристало мне не выйти на поляну, не вытянуть шеи, не изрыгнуть из себя безответного пустого зова.

Я ношу в себе знание, суды и споры, обвинения и раскаяния всех чад этого леса. Но каждую осень своей жизни я ел яблоки, шёл на поляну, ревел там и ждал. И то было естественно. Почему же теперь я стыжусь своего крика? Ведь он всё тот же. Это я изменился. И пусть я стар - зов мой всё ещё молод.

Я чувствую запах яблок. Пусть они решают за меня.

Голова моя полна образами существ, кои населяли лес когда-то существ невероятных, громадных, сильных, лапами своими перемещавших горы, рыком своим валивших деревья, огнём дыхания своего иссушавших реки.

Даже наши прародители, даже мои прародители были много крупнее меня и моих детей. Настолько крупнее, что лишь в редких случаях приближались они к редющей кромке леса, ибо тогда становилось очевидно, что они выше леса, выше колыбели своей, и тем они опасались смутить новые голые племена.

Только в чаще могли они укрыться, под самыми высокими соснами, редкими, но ширококронными, не стремящимися заполнить всё единственно собой, но дающими кров и защиту многим народам. Лес в те времена тоже был другим, он был росл и силён, благороден и мудр. Нет уже тех деревьев, как канули в вечность и предки.

Все мы измельчали: и бесцельно бродящие, шатающиеся от поляны к поляне, жрущие и вопящие под осень, как оглашенные, ничего не ждущие и никого не щадящие, и те, кто продолжает из последних сил держаться корнями за землю, держать землю корнями своими, веками не сходя с места, стоики и философы, и молчуны, кои подчас выдыхают печаль свою в порыв ветра и вновь накрепко закрывают рты.

Я долго думал, что то есть проклятие наше. Творец покарал нас за тщеславие наше, за гордость нашу, рогатую, клыкастую, ядовитую. И велено нам из поколения в поколение умень-

шаться и хиреть, так, что с каждым веком звёзды отдаляются от нас, а приближаются черви. Но что, если Творцу угодно было волю дать иным своим созданиям?

Человечьи поселения окружают леса, захватывают их, дробят. Человек проникает всюду по некоему неведомому, неясному мне праву. А что, если право имеет?

Мне передали историю, будто во времена предков, людские жилища были не более, чем норы или пещеры. С ходом времени дома их росли ввысь, обгоняя деревья, устремляясь к небу-своду и светилам его. Всё потому происходило так, что, вероятно, и человек рос вместе с домом своим. И предначертано ему было уподобиться нашим великолепным могучим предшественникам, и стать новым оплотом силы и мудрости.

Возможно, если вернуться в ещё дальше прошлое, обнаружится, что и наши прародители начинали свой вселенский путь с меньших форм, с темноты и слабости, но труд, и горе, и стремление к звёздам, сделало их такими, какими начертаны они в скрижалях леса. Они стали теми, кто, возвышаясь, паря и правя, сверкают в моей памяти.

Я храню всю историю, всё, что передано мне, словом ли, взглядом ли, движением когтя по песчаному речному берегу, всё оно здесь, всегда со мной, вся эта тяжесть, вся эта тоска, все утраты, за редкой радостью рождения. И вот теперь я ясно вижу в уме своём, как возвеличивались наши предки, и не могу сыскать свидетельств тому. Лишь вехи их падения изучены и записаны.

Я желал бы перенестись туда, тогда, и запечатлеть проделанный ими путь, чтобы, возможно, когда-нибудь, кто-нибудь смог повторить его. И снова воцарились бы крупные, красивые и мудрые лесные братья, и лес разросся бы, поглощая человечьи скорлупы. И круг замкнулся бы. И сызнова начался.

Огонь в моей голове, а в огне – пылает круг. Круг безразмерный, круг много больше того, что я в силах рассказать, бесконечно больше тех кругов, что переживает любое существо со сменой времён года, с течением лет, с замещением поколений. Всё и всегда движется по кругу, кусая самоё себя за хвост.

И в том круге, я верю я знаю, мы всё повторяем, слепо и глухо, по кругу меняясь местами с людьми, как на карусели, вверх-вниз, неосознанно, бессмысленно, или, напротив, гармонично, балансируем в общем мире, и это правильно.

Могло ли так произойти, что по праву круга, по закону его, пока предки наши возвеличивались, люди мельчали, и, стремясь утаить историю своего падения в норы, скрыли в свои скрижали эпоху нашего восхождения?

Всё изменилось с появлением в лесу человека, в коем лось узрел необычайную возможность. И он оберегал эту возможность и человека, в ком она была заключена.

Человек явился будто распахнутый ларь тонкой работы, совсем новый, и даже запах, исходивший от него, поддерживал эту иллюзию, так как тоже был нов и чужд, и не перепаян ещё ароматами леса. И ларь тот был пуст совершенно, за исключением полупрозрачного, почти невидимого покрова пыли на дне его, состоявшего из чешуек, отброшенных идей на пути взросления.

Лось проявил терпение, коего в закромах его водилось великое множество. Он подождал столько, сколько посчитал необходимым, пока ларь не был устлан мхом, и травой, и цветами, пока он не пропах листвой и хвоей, до тех пор, пока новый ларь его и вечный лес не прониклись друг другом, сплетясь и связавшись воедино.

Когда же он, наконец, почувствовал ту связь, он начал искать человека всюду, и, находя его, шёл рядом с ним и говорил ему, наполняя свой ларь слой за слоем. Он рассказывал ему всё, что знал, что видел, что думал, не любопытствуя и более не заботясь о том, усвоено ли оно будет, применено или же забыто, сохранено или выброшено.

Ощущая облегчение в голове своей, он продолжал вызволять из заключения свои наблюдения и размышления, как расчищают чердаки и подполы, натываясь на очередные тюки и коробки, и разворачивая их обнаруживают крупницы себя, уже не имеющие ценности, но ещё живые и бьющиеся, и болезненно бережущие.

Он чаял, что где-то там, подо всем накопленным им грузом, который он так спешил сбросить, скрывается он сам, истинный, иной такой, каким не видели его соплеменники, новый и почитай что невесомый. По мере того, как он передавал человеку свои сокровища, он осязал себя тоньше и чище, и радовался, предвкушая приближение развязки. Речь его становилась всё более тягучей, и в то же время водянистой.

А потом он начал забывать.

Поначалу он и сам заметил, что отдельные нити той или иной идеи ускользают от него, но вскоре успокоился на сей счёт. Просто он стал меньше говорить, и в конце концов убедил себя, что уже рассказал всё, что знал, миссия его завершена, и теперь он свободен от условностей.

Он достиг лёгкости, подтверждавшей его догадки о переживании им нового состояния, коего он жаждал долгие годы. Костры в уме его уснули, вода утекла, и лесной воздух казался ему вкусным, как в детстве. Каждое утро открывал он глаза, обозревал лес вокруг себя и радовался ему, потому что каждое утро то был новый лес, живой и неизведанный. И, потянувшись, старый лось пускался в путь, дабы как возможно лучше познать своё вновь обрётённое обиталище.

Только истории круга, как призраки, всё ещё носились в его голове, и изредка, во время прогулок, он вдруг опять рассказывал одну или несколько из них, будто в первый раз, хотя порядок слов его оставался неизменным.

А человек с печальной благодарностью снова и снова принимал те истории в дар.

Однажды, Пётр как никогда долго искал лося. Он искал его весь день, не отвлекаясь даже на еду, обходя раз за разом и излюбленные ими опушки, поляны и тропы, и самые тайные лежбища своего друга, о коих ему разболтали птицы.

Ближе к вечеру Пётр пришёл на место встреч, где привычным кругом расселись обитатели леса, шёпотом обсуждая насущные заботы и надежды в ожидании лося и сказок его. Но того всё не было.

Когда и вовсе стало смеркаться, круг начал редеть. Звери расходились по своим излюбленным укромным углам, впрочем, не ропща и не выказывая явного неудовольствия от проведённого в напрасном ожидании вечера. Как если бы и не ждали они никого, и потому не были обмануты.

По исчезновении многих, Пётр с удивлением узрел в тени дуба лосёнка, совсем маленького, хлипкого, на тонких, подкашивающихся ножках.

Тот вертелся непрестанно, смотря своими большими влажными глазами то в одну сторону, то в другую, будто не видел никого, будто потерян был.

Но тут взгляд его, пока не вполне сфокусированный, упал на Петра, который возвышался теперь из-за спин ещё не разбежавшихся зверей. И Пётр взгляделся в лосёнка, и узнал его. И стало ему горько, и отрадно, и впервые осознанно одиноко.

Глава седьмая. Охота

Они пришли в начале весны, когда звонкая радость наполняла лес. Уже возобновился ток крови древесной, и великое множество ростков и побегов исполосовали, заштриховали лес салатowymi лучами, весело перекликавшимися с солнечными собратями, формируя дымку, предчувствие жизни, питая корни жизни, и всех, кому судьба даровала новый виток её.

Они пришли на рассвете. Точнее в тот час, когда рассвет ещё не успел проникнуть в лес. Первые лучи уже подбирались ко входу, и небо над кронами деревьев посерело. Внутри же, в подлеске, не завершили пока своих естественных обрядов сумрачные звери, а зверьё дневное по наитию выбиралось из укрытий с большой опаской, не отходя далеко от лежищ своих, разве что до ближайшей лужи или ручья.

Пётр, едва проснувшись, отправился бесцельно бродить по лесу, поёживаясь на утреннем холоде, но с произвольной улыбкой подмечая всё новые проявления весны. Ему нравилась эта пора, хотя он уже точно знал, что и лес, и обитатели его живы и в каждом выдохе самой суровой зимы. Не прекращаются шаги их и не умолкает биение сердец их. Но ранней весной само их существование пробуждается ото сна, расцветает, как своевольный подснежник, наполняется и плещется, вначале тихо и осторожно, и затем всё сильнее, волнами торопливой радости окатывая свои угоды.

На поляне Пётр пересёкся с тощим волком, который вновь сделал вид, что не знает о человеке вблизи себя.

Волк ещё ощущал солёный привкус в пасти своей, тело же его гудело после длинной охоты. А всё же он счастлив был своим простым, сытым счастьем.

Внезапно он учуял запах. Запах этот вернул его во времена расцвета, когда он был силен и быстр, и отрывался от запаха с лёгкостью птицы. Затем он сделался совсем юн и тонок, и ноги его дрожали, когда он выглядывал из-за спины стаи. Ещё мгновение – и он уже волчонок, шёлковый щенок, и запах этот существует лишь в рассказах матери, и есть не более, чем страх.

И волк побежал, будучи не в силах совладать со своим детским страхом.

Не он один, а всё живое пришло в движение. Лес затрепал, как если бы нечто рвало его на части. Он гудел и стонал, моля о помощи в час, когда дети его сошли с ума, и уже не заботились о сохранности дома своего.

Первым же, что услышал Пётр, был треск веток, всесторонний, бессмысленный. Происходящее казалось ему немыслимым. Лес, чья жизнь была подчинена ритуалам, последовательность коих неуклонно соблюдалась, вековой порядок охранялся, тем утром полнился озверевшими существами разноразмерные, с выпученными глазами, роняя слюну, они носились по лесу, позабыв и его, и себя самих.

Долгое время Пётр не видел чужих, но отголоски присутствия их доносились и до него. Он произвольно прижался спиной к дереву в наивном веровании, что то защитит его. Вскоре он признал уязвимость своего укрытия, когда на глазах его крепкая осина пала жертвой страха молодого оленя, налетевшего на неё и переломившего её ствол.

Остановившись и присев на задние ноги, олень качнул головой, но вскоре вскочил и понёсся дальше.

Пётр не знал охоты, и ни отец его, ни дед его не говорили о ней. Теперь же новая для него какофония леса, и донёсшиеся до него запахи, и возгласы, человечьи и звериные, и всеобщий ужас вынудили его пасть ниц. И он полз, прижавшись к земле, последнему оплоту своему. Приблизившись к не раз обворованному им ельнику, он усмотрел под нижними лапами того канаву, сотворённую дождями. Он забрался в канаву и закрыл глаза.

Так лежал он, не шевелясь, ощущая сплетения столетних корней, укреплявших чашу его прибежища, осязая, как влага пробирается к его телу, пропитывает штанины и рубашку,

холодит кожу. И посреди метущегося леса, он корил себя за то, что не заметил лужи на дне канавы, где решил укрыться от чужих, и вместе с тем оправдывался, что одежду можно потом высушить, это ничего, просто у него не было времени на размышления, не было времени искать лучшего места, времени не было, так как пришли они, и они были уже близко.

Тут он почувствовал, как толстый гибкий жгут плавно покрыл его икры, обнял их, прижался к ним, всего на несколько мгновений - мимолётная ласка посреди опасности - после чего продолжил свой неспешный путь прочь от людей.

Спокойствие и размеренность движений жгута, время, уделённое им Петру, как дружеское плечо, вернули человеку разум и достоинство его, вернули их в дома их, и он открыл глаза.

Раздались первые громы, чужеродные, злые. Громы породили крики. Голоса ожили все разом, как если бы до того пришлые полагали себя не обнаруженными, а местные – спасёнными бегством. Громы разрушили все иллюзии.

Язык чужих был знаком Петру. То был и его язык тоже. А запах их был чужд ему. Он отвращал его, будто были они не его породы.

Звери же, напротив, понимали этот запах. По запаху они узнавали чужих в любом их облики. Лаской, или же шлепками передавали они истории о запахе человечьем своим детёнышам. Но речь пришлых была непостижима для них, как шум океана или же свист комет на небосводе, а потому не могла ни указать им путь, ни предсказать окончание одного.

Чужие пришли с собаками, напоминавшими чудовищ. Крупные, с короткой чёрно-рыжей шерстью, они, топтали своими крепкими лапами звериные тропы, каждым движением, шумным дыханием своим предъявляя свои права на лес.

Творец щедро одарил собак шкурой. Каждой досталось её столько, что можно было бы с лёгкостью обтянуть двух. Шкура складками струилась со спины, свисала по бокам, по шее, начиная от самой пасти, обрамлённой длинными брылями. Ещё ниже брылей свешивались тонкие и широкие кожистые уши. Нижние веки также собственной тяжестью были оттянуты к низу и приоткрывали красное мясо под крупными грустными глазами животных.

Собаки были не стары, но старинны. Потомки демонов давних времён, неспешно распространялись они по лесу, волоча за собой тяжёлые липкие тяжи слюней, служа и повинуюсь, будто обряд, свершая предначертанное им и их жертвам.

Волк бежал, не разбирая дороги, петлял, как заяц, но не с умыслом, а от безумия. Вокруг сгустился испорченный воздух, зловонное месиво из плоти и пороха, пота и мочи, надежд и поражений. Его вырвало.

Почти обессилив, он схоронился под комелем выкорчеванного давно минувшей грозой дуба. Тот опирался наискосок на более стойких братьев, приоткрыв свою колыбель для скинталцев. Комель успел по кругу зарости молодняком, а с верхнего его края занавесью свешивались корни дуба. Через нити занавеси той виднелись пятна стыдливого утреннего неба.

Однажды, будучи волчонком, он сказал своей матери, что желал бы стать собакой, не знать голода и жажды, не ведать охоты, и гулять по лесу ясными днями. Воспоминание обожгло ему голову, как когда-то обжёг его удар когтистой материнской лапы. Странно будет завершить свой путь в лучах солнечного света.

Вдруг его свет, нежный пыльно-розово-голубой свет, заслонила чёрно-рыжая масса. Он увидел крепкие лапы, напоминавшие его собственные, услышал тяжёлое дыхание сильного животного.

Собака стояла не шевелясь.

Волку отчего-то подумалось, что собака знает его, и знает, что он рядом. Она и правда знала. Она узнала его, познала его тоску, считала его муку. Ей оставалось только принять решение, право на которое нечасто оказывалось в её когтях. И она не спешила.

Несколько беспощадных мгновений он перекачивал по телу своему остатки собственной силы, коих после ночной погони оставалось совсем немного, но он считал, он просчитывал

свой шанс, один, или и того меньше. Затем он напряг мышцы и приготовился к прыжку. Опыт подсказывал, что вгрызаться в шкуру бессмысленно. И он целился в заднюю лапу собаки.

Но тут собака медленно легла на землю, сделала глубокий вдох и подняла голову к небу. И в небо заструились звуки. То был не зов преданного солдата к своему командиру, не хвала, кою невозможно сдержать в груди в лунную ночь, и не угроза. Как благословляющую молитву, благодарную и лишь в глубине своей неосознанно просительную, тихо и светло, собака пела чистую волчью песнь.

Немногим позже на поляне неподалёку, на открытом месте, у всех на глазах завалилась на бок лесная свинья. Вокруг неё суетились её дети, устало, негромко повизгивая. У матери же их сил на голос не осталось. Несколько часов она петляла по лесу, замедляясь, когда понимала, что дети её не поспевают за ней, и ускоряясь вновь, едва они нагоняли её. Каждым длинным жёстким волоском своим ощущала она преследование, преследование почти безошибочное. Воздух, столь ценный и необходимый, то и дело вкладывал в уши её крики настигнутых. Те крики ранили её, лишали рассудка. Опомнившись, она снова собирала вокруг себя детей своих, и непрестанно поторапливала их, верещала, но и учила. Так она выговаривала страх, выговаривала судьбу семейства своего. Теперь же она выдохлась, лежала опустошена и безразлична ко всему.

Безразличен к ней оказался и волк, трусцой пересёкший её безалаберное лежище.

Собака же грузно ступала по влажной почве, вминая в неё сосновые иглы, прошлогоднюю листву и первую несмелую зелень. То и дело она принюхивалась, меняла курс, принюхивалась опять и опять продолжала идти. Она знала своё дело. И только по завершении его, уходя, она обернётся, и посмотрит на лес глазами, полными неизвестной волку печали.

На следующий день ударят морозы и выпадет снег, коему должно будет укрыть павших и неподобренных, продлить тоску выживших и дрожь их, струящуюся по лесу, не впускающую любовь, не препятствуя ей, но прося обожждать нового витка.

А новый виток наступит, пусть немногим позже, и жизнь вернётся на круги своя, и станет есть, и пить, и целоваться, и играть весёлые весенние свадьбы. Голубые цветы заискрятся вокруг влажных ложбин. Почва впитает кровь и плоть, удобрит ими корни трав, и те, в свою очередь, скроют последние следы.

И тогда солнце, проснувшись, увидит лес радостным и прибранным.

Но Пётр никогда не забывал о чужих и о влиянии их. Ни сейчас, ни позже, ни встречая их в иных облициях, не мог он определить сколько их было. Они являлись единой тёмной массой, подсчёт частиц которой, ведущийся обречёнными из века в век, был непосилен ему. То мог быть один, или же десять, или множество.

Но дело их не было ограничено контурами тел их, но смердящей волной предвосхищало явление их, и в вечность следовало за ними нескончаемым шлейфом, передающимся по наследству из поколения в поколение, вместе с расписными сервизами и обрезам бархата.

И нет им конца, ибо они есть и причины, и следствия, бесконечно перерождающиеся из одного в другое, множась и путешествующие, как перекасти-поле. Бесчисленные круги они насильно порождают и завершают. Каждый из них, захватив свою жертву, окружает её печалью и мраком истинными и изначальными детьми своими. И всякий детёныш играет с игрушкой своей, и живёт, и питается ею.

Глава восьмая. Заяц

Простор. Чистый, бескрайний, беспрепятственный. Прямо – притягательно, но запретно. Для него не существует прямо, как не существует смерти до самой встречи с ней.

Для него сотворено некое неопределённое вперёд. Нет ничего более изменчивого, чем вперёд. Любой шорох, оклик, произвольный поворот головы, и вот уже новое вперёд распаивает свои объятия, и зовёт, и манит.

Заяц понимал, что врагов у него множество. Он чувствовал их каждым волоском тельца своего, втягивал подрагивающими ноздрями их запахи, слышал шелест травы и треск мельчайших веточек под их шагами, улавливал малейшую тень, угрожавшую ему со спины.

Вначале он знал об опасности совсем немного. Он чуял её повсеместно и не умел назвать по имени. Имена открылись позже. Как и образы. Но с самого начала он знал, что она повсюду.

Не было ему покоя ни в лесу, ни в поле, ни в собственной норе, вырытой им же у корней боярышника, чьи нижние ветви плетью спускались к земле и будто балдахином укрывали ложе зайца, где тот проводил светлые дни, впрочем, страшась неустанно.

И в чутком поверхностном сне своём он слышал чьё-то фыркание, хлопки, издаваемые взрезающими плотный дневной воздух мощными крыльями, чуял кровь своих соплеменников на чистом первом снеге.

Страх был его идеей, переданной ему от матери ещё в утробе её. Не воспитанная, не привитая, не подаренная или навешанная, а идея истинная, врождённая она берегла его.

Также от рождения он знал, что создан бежать. Бег стал его путём, по которому вела идея его. Он бежал, везде и всегда, но никогда прямо, только не туда, куда устремлял он взгляд свой. Он не имел права выбирать направление, а обязан был испытать их все. И он петлял по лесу и окрестным полям, рисуя самые невероятные фигуры, приподнимавшиеся над землёй запахами страха его.

Останавливаться нельзя. Печали воздушны, радости скоротечны. Вся пища имеет одинаковый вкус. Любовь мимолётна. Солнце изменчиво. Вечны только страх и бег.

Вновь и вновь он пересекал чужие тропы, не имея собственной, не имея ничего, кроме ветра в ушах, хвойных игл в шкуре своей и теней за спиной своей. Часто встречал он следы себе подобных, многократно пересекающих пути свои собственные и своих сородичей, не без коварства, но с чистейшей надеждой в коварстве том – надеждой на жизнь, надеждой на продолжение бега.

Иногда зайцу снилось, что у его беглого существования имеется некая тайная цель. Ему чудилось, что смысл всего скрывается где-то совсем близко от него. И он петлял ещё резче, сиюсь догнать ускользавшую ясность, веря, что когда-нибудь, после нового, особенно крутого поворота, он запросто влетит в иной мир, где обретёт силу и мудрость. И покой.

В другой раз ему казалось, что то не он мчится непрерывно, но весь мир скачет и мельтешит вокруг него. В его глазах лес ходил ходуном, слагаясь не из линий или же кругов, а из одних только пятен. Пятна зелени разных оттенков пролетали мимо, проносились над головой его и под ногами его, и вдоль боков его. Затем мир начинал пестреть цветами, покрываться мелкой крапункой. Ещё позже пятна салатные и изумрудные перевоплощались в шары огненные, что при том не обжигали и не грели вовсе. Напротив, шары те прохладны были, воздушны и уязвимы. И вот их уже пронзают острые тёмные ветви деревьев, шары схлопываются и опадают на землю. А белое покрывало с небесным размахом укрывает почву, и студит, и прячет пищу, и злит недругов его. Стоит же ещё немного побегать – покрывало то само отступит, уползёт с лица леса, скроется под землю, и новые, свежие, тёплые пятна станут кружить вокруг него.

Чудо его свершилось над ним, когда он и не помышлял о нём вовсе, и ни чаяния не имел, ни мечты. Однажды запросто, сам того не заметив и не осознав, перенёсся он в мир, в котором ему уже никто и ничто не угроза и не опасность были.

Здесь через тысячу лет бега, ни единой не прерванного новой смертью, заяц уверует. Тогда без тревоги выйдет он из-под защиты деревьев на солнечную поляну, и станет бить в барабан, но не из страха, а от радости живой.

Люди в округе будут спрашивать друг у друга, гром ли то, или новая война грядёт. А самый древний из стариков улыбнётся и скажет: «Не бойтесь! Это всего лишь заяц бьёт в свой барабан. Значит хорошо ему. Вон, смотрите, как уши его распластались над соснами! Сегодня ему, наконец, спокойно».

Почему? Почему я бегу? Почему сейчас налево? Почему теперь назад? Я остановлюсь! Но я не могу

Я устал! Как же я устал!

Меня считают трусом. Это неправда. Не всякий, кто познал страх, есть трус. Не страх угрожает мне. Он мой попутный ветер. Он учит меня, направляет, бережёт. И я не трус. Просто такова моя жизнь.

Они не знают меня. Я для них ушастая тень. Бесчисленное множество таких призраков парит в небесах. А я так близок к земле. Я знаю её. Я знаю, как она нагревается днями, а потом медленно отдаёт своё тепло детям своим, пока те спят. Я ощущаю её вибрацию под поступью крупного зверя. Вскормленные ею деревья предупреждают меня о взлёте совы. Но всё то мгновения, и даже меньше.

Волк силён. Он тоже считает, что знает меня. Он смеётся надо мной. Но по-настоящему узнать меня он сможет, только когда встретит. И он делает то, что предназначено ему. Он ищет меня. А я бегу.

Лось мудр. Он часто толкует о кругах. Круги ясны и прозрачны, и не смогли бы спасти меня. Я же рисую на земле цветы и зверей, и карту солнечных лучей, и голосов, и музык леса. И пусть на земле не останется следов моих, воздух сохранит мои творения.

Нечто новое поселилось в лесу. Не волк, и не лось. Это пятно чуждо нашим местам. И всё же оно здесь. Я не могу понять, опасен ли он. Я не знаю имени его. И мои чувства молчат. На всякий случай, я бегу.

Но что, если он и есть моя цель? Я невольно замедляюсь, когда чую его поблизости. Я так устал, что везде вижу благое завершение моей суеты. А потом страх мой, и стыд мой ещё пуще гонят меня, чтобы то ни означало.

Я спешно ужинал одуванчиками, когда вспомнилась мне одна легенда. Родитель мой рассказывал, что заяц имеет право остановиться, но только один раз в жизни. Второй остановки страх не простит ему. Тогда я понял – это мой шанс.

И вот оно, это чуждое всему лесу пятно, уже за спиной моей.

Ужас внутри меня. Мои уши непрестанно дёргаются. Да и лапы тоже. Тело моё норовит сорваться с места и унести как можно дальше. Подчас мне кажется, что часть души моей всё же не выдержала, с воплем оторвалась и покинула меня.

Но я не побежал.

Эти мгновения бездействия обволокли меня, будто тина болотная. Я утопаю во времени. Оно отвратительно на запах, а по вкусу – пресное.

Чужак не приближается ко мне.

А я жду.

Мне всё труднее оставаться на месте.

И вот уже нет возможности терпеть дальше. Я таков, какой есть.

Один хороший прыжок, и меня более не станет для него.

Лишь однажды за годы лесного обитания Петру представилось узреть останки мёртвого животного.

Всё потому, что одряхлевшие звери уходили умирать в дальнюю чашу, места глухие, непролазные, куда не тянется ни единой тропы, где они изыскивали для себя норы и лежища, надёжные, как гробы.

Кости же тех, кто пал жертвой хищника, заметал снег, или засыпало листьями, или же благодарная трава, напитанная кровью и кожей, пышным цветом разрасталась, ловко маневрируя между рёбрами, скрывала, утаивала от посторонних глаз самое важное действие, финал неизбежный, но естественный, завершающий круг – когда земля, породившая всё и вся, тихо и неспешно, с материнской нежностью втягивала внутрь себя то, что ещё оставалось, чем более уже никто из прочих детей её не смог бы подкрепить свои силы.

Тельце зайца, иссушенное солнцем, лежало на поляне, образовавшейся в лесной чаще по воле сильных июньских ветров, проникших в лес по старой просеке, вырубленной людьми в давнее время во имя позабытой цели, ветров тёплых, но оттого не более разборчивых и не менее беспощадных, выкорчевавших и опрокинувших семью старых дубов, переживших к тому времени уже множество зим, и гроз, и засух.

Теперь же тела деревьев, такие же сухие, лежали навзничь, или облокачивались на более крепких и удачливых сородичей. Их кроны ссыпались в землю и сами стали пищей, а высвободивший от их тени низкорослый подлесок жадно прильнул к солнцу, коего он толком и не знал ранее.

И вот на поляне между кустарниками, на небольшом клочке земли, ещё не до конца поглощённом возрадовавшейся свету растительностью, лежало тельце зайца. Оно было уплощено, но узнаваемо, как портрет, не способный передать всю многогранность своего героя, его опыт, его сложность, его чаяния и сожаления, а всё же дарующий образ, едва ли не более ценный, ясный, вечный. Так бывает, что в пылу беседы не всегда разглядишь собеседника своего, и несёшь через жизнь слова его, не будучи в силах припомнить лица, произнёсшего их.

Тельце казалось почти просвечивающим, сохранив при том кожу и, частично, мех, особенно на длинных ушах, лежавших почитай что отдельно от него, но упокоенных рядом с хозяином. Как когда-то в гробницы укладывали утварь, что должна будет понадобится почившим в загробной их жизни, столь же ладно и торжественно были размещены в траве уши бедного зайца, которые также могут пригодиться ему, если и на той стороне ему предстоит бояться и бегать.

Поза мертвеца рассказывала о внезапности настигшего его несчастья. Он был распластан в позе прыжка, возможно, лучшего из его прыжков. Передние лапы его были выброшены вперёд и тянулись к некоей точке, куда он стремился, но не успел добраться. А может он и достиг её уже в ином свойстве, или же и цель его перестала существовать вместе с ним, как умяляются и стремления человечьи по смерти того, для кого они были важны. Задние же лапы его только что оттолкнули от себя твердь, отринули землю и совершили удивительное даровали телу полёт, краткий и отчаянно счастливый, обещающий спасение и надежду на иную вечность.

Глава девятая. Пожар

Пётр проснулся в своей детской постели. Тело его болело. То была боль, рождённая неудобством позы, в которой он проспал, по-видимому, довольно долго.

Положение его, неестественно согнутое, происходило от того, что прежняя кровать его уже более не подходила ему, но была слишком узка и коротка. Да и сам он от жизни в лесу привык, что для раскинувшегося на траве или хвое человека нет ограничений в пространстве, и вся земля - его.

И вот теперь тело его ныло от несвободы человечьей.

Комнатой владел сумрак, лишь немного отступавший перед маленькой керосиновой лампой, при том вдоволь отыгрываясь в дальних от её влияния углах, кои он населял столь плотно, что под его давлением они прекращали существование своё, теряли границы свои, и в любой из них можно было провалиться, и падать, и не достичь дна.

Пётр сел в кровати, не свешивая ног. Озираясь по сторонам, он всматривался в пятна тьмы, пытаясь разгадать в их глубинах очертания знакомой с детства утвари, но та скрывалась от него, не позволяя ощутить себя дома.

Он прислушивался к своей боли, навязчивой, поглощающей мысли и желания, как если бы сама идея боли поселилась в нём, и он мог думать только о ней, лелеять её, исполнять её прихоти. И он послушался её, и вновь смиренно лёг на кровать.

Сбоку от него продолжало свою вечную прогулку по стене лосье семейство. Их лес будто стал мрачнее, а над головами ещё сильнее сгустилось синее небо, так, что казалось, его вот-вот затянет серая поволока, и дождь брызнет на одеяло. Но вдруг лось-отец, ранее всегда невозмутимо-величественный, отделился от плоскости, в коей содержался, наклонил лицо своё к лицу Петра, соединил свой взгляд с его взглядом, и глухо спросил:

- Кто ты?

- Я - Пётр.

- Я тебя не знаю, - задумчиво покачал головой лось.

- Я всегда жил здесь, в этой комнате, - с тенью неуверенности в голосе пробормотал Пётр. Тёмные углы всё ещё не шли у него из головы.

- Нет. Это я всегда был здесь, с самого сотворения. И всегда буду здесь. Но тебя я не помню. Помню только, жил тут ребёнок.

- Я и есть тот ребёнок, - уже увереннее проговорил Пётр.

- Нет. Ты не он.

- Он. Я это он. Помнишь? Помнишь, как я гладил тебя по шее? Вот так... - и Пётр протянул руку, желая коснуться шерсти лоса, шерсти его или шерсти, из которой он был соткан, не суть важно. Но лось отпрянул, и прикосновения не случилось.

- Я помню, как ребёнок гладил меня по шее. Мне это нравилось. Я всё помню. Но ты? Ты не ребёнок.

В следующее мгновение Пётр очутился снаружи родительского дома. Двери были широко распахнуты, и он видел его весь, насквозь, и даже больше – как если бы стены дома стали прозрачны и хрупки.

Он видел каждую комнату, каждый закуток, чернеющие провалы под кроватями, наполненные детскими страхами, и таинственные шатры под столами, заменявшие ему когда-то детскую. И у всех шкафов дверцы были открыты, а у сундуков подняты крышки, и он мог неспешно рассмотреть каждое хранившееся в них сокровище.

Он любовался ими, и память подсказывала ему их имена и значения, а воображение подбрасывало новые формы, ранее неведомые ему. Он догадался, что воображение его - только лишь самый глубокий слой памяти, дно её, укрытое знанием изначальным, родовым.

Обернувшись, он оглядел двор, завитую рябину и куст сирени – единственных стражей внутреннего мира семьи, бессильных уберечь его от вольных и невольных взглядов, легко перелетавших через невысокий забор.

Около ворот горел огонь. Отец жарил мясо. Наяву такое случалось редко. По-видимому, близился какой-то праздник, и Пётр ощутил предвкушение, предвкушение семейного торжества.

Угли в костре задорно потрескивали, и непослушные искры то и дело сбегали за отведённые им пределы. Запах дыма, густой и аппетитный, замешанный с ароматами мяса, наполнял его лёгкие и будоражил его.

Пётр был счастлив, как не бывал счастлив с незапамятного бессознательного детства. С усмешкой уразумел он, что всё счастье его, годами живущего вне родительского дома, ставшего много сильнее, узревшего и познавшего многое, оно всегда было здесь, стоило лишь достать его из шкафа.

Он был счастлив, но и напуган. Он боялся за свою сокровищницу, боялся хрупкости её оболочки, боялся тайны, оберегавшей её.

Между тем треск костра усиливался, а дым преобразился. Петру показалось было, что дым рассеялся, а потом он понял, что тот лишь обесцветился и являл собой теперь прозрачную, ничто не скрывавшую пелену, тогда как запах дыма усилился, заполнил собой голову его, тревожил сомкнутые веки.

Он приоткрыл глаза и вновь очутился в лесу, который выглядел чистым и свежим. Где-то вдалеке кричали птицы, сумбурно и неразборчиво. Их голоса никак не складывались ни в одну из известных ему песен. По мере того, как слух его возвращался ото сна, птичьи крики близились и крепчали, пока не поглотили ум его.

Он вспомнил родительский дом и свою семью, почти случайно, в мимолётном хладном озарении, а затем, сызнова провалившись в сон, увидел их живыми и в добром здравии, только уже иными. Они стояли перед ним в ряд, неестественной шеренгой, и у всех были открыты рты, из которых не являлось ни звука, в то время как сам он барахтался в истошных воплях, раздиравших его сознание.

Но окончательно вернули его не крики, и не дым, и не всё нараставший плач леса. Вернула его боль. Боль напомнила ему, что он жив. Боль напомнила ему, что он в лесу, сидит на траве, прислонившись к стволу дерева. Боль показала ему выход из плена снов, заставила его распахнуть глаза и узреть место своё.

По просеке чуть впереди стадами двигались звери, а справа в траве вился, удаляясь, серо-коричневый хвост.

Осматриваясь, Пётр невольно прижал руку к плечу, и она угодила во что-то липкое. Отняв руку, он увидел, как так окрасилась. Впрочем, крови было совсем немного.

Он встал и пошёл, повиновавшись стадам. И вновь все они бежали. На этот раз, все, кому удалось ускользнуть от самого пекла, все они как один бежали в одном направлении, и не было среди них ни волка, ни зайцев, а лишь спасённые. Они двигались бок о бок, не перерезая троп друг друга, и не было в их рядах места ни голоду, ни жажде, ни прочим нуждам, кроме нужды в самой жизни.

Глядя по сторонам, Пётр узнавал многих, и многих ему недоставало. Его волновала судьба лося, который с каждым новым летом передвигался всё медленнее, путаясь и в местности, и в мыслях своих. Но Пётр не покинул строя, потому как по обе стороны от него были проложены пути иных знакомцев его, и любая попытка разворота или движения в бок могла бы разрушить их спасительный ток.

Обернувшись на мгновение, он не увидел огня. Только дым плёлся за ними, медленно, будто неохотно, выглядывая из-за стволов деревьев, затем делал шаг, ещё один шаг, скрывался в чаще на несколько мгновений, по-видимому, отвлекаясь на нечто вкусное, и опять вступал в преследование.

А звери бежали, бежали изо всех сил. Они спешили к реке. Река была их общей возлюбленной. Раньше они часто стыдливо посматривали на неё из-под крыши леса, решаясь осторожно выйти на открытые берега её только тщательно осмотревшись, убедившись, что останутся незамеченными. Теперь же они стремились к ней, предчувствуя своё спасение в воде её, слепо не думая о том, как глубоко может укрыть она их в толще своей.

Дым же следовал за ними вразвалку и при том не отставал ни на шаг.

От реки их помиловало небо. Глядя на них сверху, небо и своих овец спешно собирало в плотные отары. Оно призывало из отовсюду, с самых отделённых рубежей, понимая, что ему потребуются все его белошёрстные воины. И когда их скучилось достаточно, они обрушились на дым, и породили ещё больше дыма, но он уже не шёл за зверями, а с шумным облегчением уходил к небу, благодаря то за милостивое завершение трудов своих.

Дождь лил долго. Он охлаждал и залечивал раны леса, омывал пот с тел зверей, которые, закончив печальную переключку, обходили чёрные проплешины на теле леса, а затем разбредались в стороны в поисках новых лежищ.

Пётр так и не узрел огня. И никто из тех, кто брёл по изуродованному лесу, оплакивая потерю за потерей, никто из них не видел огня. Тех, кто мог бы попытаться рассказать им огонь, свет его, жар его, блики его на листве, языки его в траве, всех тех уже не было среди них.

Глава десятая. Змея

Люди уверены, что в них есть что-то от Творца. А во мне? Во мне? А в птицах? Мы такие разные. Как могут столь разные существа происходить от одного? И, тем не менее, мы – творения одного Творца. И сколько во мне от Творца?

Мне кажется, я с юности была честна сама с собой. Вновь и вновь осматривая, изучая своё тело, я понимала, что похожа на червя. Я – червь? Нет. Я думаю. Я знаю. Я верю.

Я видела птиц, стоящих ногами на земле, совсем близко от меня. От них веяло ароматами другого мира. И теплом. Я – птица? Нет. Я принадлежу земле всем телом своим. Я – другая. Я не могу подняться к ним в небо. Разве что взобраться вверх по стволу дерева? Я могла бы взобраться на любую из тех диких яблонь. И это послужило бы всем им неплохим уроком. Но кому нужны мои уроки? Слепые не увидят. Глухие не услышат.

Вон они парят так высоко, что не видят меня вовсе. А я здесь, внизу. Живая.

Сколько бы студёного осеннего воздуха не пришлось на мою долю, пока я ещё живая. Ненужная, но и мне никто не нужен. Никогда не узреть мне другого мира. Сейчас, когда я уже почти свободна, мне это уже безразлично. Моя осень длится давно, слишком давно. Умерло всё, чему была судьба умереть. У меня нечего отнять. Я же пока способна отнимать у других. Мне не приходится ждать доброты, но и это меня уже не трогает. И при всем этом, я – живая. И это неправильно. И это больно.

Я всегда умела себя защитить. Разве это грех? Да, бывало, мне хотелось причинить кому-нибудь боль. Иногда это был кто-то определённый. Кто-то пугающий, кто-то угрожающий мне.

А в другой раз я была готова броситься на первого встречного.

Что это? Молодость? Горячая кровь? Мне кажется, моя кровь никогда не была горячей. Тогда что? Обида? Но на кого или на что мне обижаться? За всю жизнь мою никто не сумел по-настоящему обидеть меня. Может это некая родовая обида? Изначальная обида, прародительница всех обид? Обида на само существование несправедливости.

И в ответ на эту обиду живые существа старательно обесценивают любой возможный смысл собственной жизни и поплотнее закрывают для себя историю свою: обрубают корни, обстригают побеги. После чего слабые погибают, а сильные старательно несут эту боль следующим поколениям.

Как славно, что я уже не в этом круге. Я просто наблюдатель. Меня уже почитай что нет.

Но раньше, раньше я была как все. Росла, смеялась, плакала. Любила своих детей и ненавидела тех, кто хотел причинить им боль. Я пила воду, ела мясо, внимала природе, дышала одним воздухом с вами. И с птицами. Должна ли я просить прощения у Творца за то, что я – такая, какая есть?

Со мной нет уже той злости, что всю жизнь грузом лежала на моих плечах. В юности я бравировала ею. Несла её как знамя, считая борьбу своей главной целью. Позже, когда мои глаза открылись, я увидела мир полный целей. И я научилась контролировать злость. Я сжала её в комок и двинулась дальше. Но я всегда знала, что моя злость со мной. Она никуда не исчезла. И если мне опять потребуется сражаться, этот комок на моих плечах станет моим оружием. Ничего не стоит дать злости развернуться сызнова.

И где же моя злость, когда я на последнем пути своём? Её нет со мной. Я не знаю, как она покинула меня, но я чувствую себя покинутой.

Что я вижу, оглядываясь теперь? Беспорядочные паутины извилистых троп. Троп, которыми я прошла. Троп, которыми я пренебрегла. И троп, которые я не заприметила.

Годами я осознанно искала истинный, верный путь для себя, прошупывала мироздание, прислушивалась, принималась, пробовала на вкус, приближалась и отступала, подчас даже касалась чего-то.

Эта лёгкость, может ли она быть знаком? Знаком того, что у меня получилось всё сделать как должно? Или моё безразличие – лишь свидетельство разложения моих чувств? Этого мне не узнать никогда.

Вот я не шевелюсь совсем. Почему раньше я так редко позволяла себе остановиться? Да, в череде стремлений, порывов и погонь, в тени полураскрытого крыла злости, случались дни, наполненные тишиной. Я замирала в своём укрытии и кожей впитывала мир. Иногда мне казалось, будто он останавливался вместе со мной, обездвиженный и почти бездыханный.

То было время не гоняться за жизнью, а любоваться ею. В те дни я была настоящей, живой не просто от того, что дышу, а живой по сути своей. И я с благодарностью ощущала себя творением своего Творца.

Славное было время. Но и это уже не имеет значения. Всё прошло. Ничего не важно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.